

А
К
К
О
Р
Д



Александр Солин



18+

Александр Солин

Аккорд

«Автор»

2026

Солин А.

Аккорд / А. Солин — «Автор», 2026

О чувствах можно говорить медицинским языком, можно уличным или эстрадным, а можно просто молчать. Герой романа исповедуется на языке любви, то есть, на языке аллюзий, и его внимание к интимным, составляющим подводную часть любовного айсберга подробностям могло бы показаться вызывающим, если бы не диктовалось желанием выразить свое чувство во всей его энциклопедической полноте.

© Солин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Солин

Аккорд

А К К О Р Д

От автора

Среди почитателей русской литературы, представители которой награждаются премиями и провозглашаются прорабами современного литературного строительства, бытует мнение, что любовь есть назойливая и неудобная часть тех причудливых и не всегда адекватных переживаний, которые испытывают ее философски настроенные герои, силой надуманных обстоятельств делающие выбор между добром и злом. Другими словами, деяния невнятного, нездорового героя, для которого любовь вторична, либо густо замешана на перверсиях, и есть, по их мнению, желанный вектор литературного процесса. Любовные же переживания нормальных людей считаются делом обыденным и за отсутствием гнильцы интереса не представляют. По этой причине произведения о любви названы "любовными романами", зачислены в разряд второсортных и отправлены на одну полку с криминальным чтивом.

На деле познание и самопознание человека возможны только через любовь, а вся полнота и смысл окружающего мира открывается ему не в досужих размышлениях, а в любви. Об этом говорят традиции русской литературы от "Евгения Онегина" до "Мастера и Маргариты" и даже приснопамятная "Лолита" свидетельствует о том же. Любовные переживания куда искреннее, продуктивнее и глубже, чем тот слипшийся конгломерат низких чувств, которые сопровождают натужную борьбу человека за существование. Не говоря уже о том, что если любовные деяния (как, например, выбор Отелло) и не всегда этичны, то корысти в них куда меньше, чем в борьбе за власть и богатство. Именно эти соображения заставляют меня настаивать на сингулярной природе любви, именно исходя из них, спешу посильным мне способом воздать должное началу всех начал, из которого возникли и расцвели человеческие чувства, фантазии, искусства, добродетели и пороки.

О чувствах можно говорить медицинским языком, можно уличным или эстрадным, а можно просто молчать. Мой герой исповедуется на языке любви, то есть, на языке аллюзий и плоти, и его внимание к интимным, пододеяльным, составляющим подводную часть любовного айсберга подробностям могло бы показаться вызывающим, если бы не диктовалось желанием выразить свое чувство во всей его энциклопедической полноте. Пытаясь справиться с этой весьма непростой задачей, он пускается в эротические изыски и порой шеголяет рискованным красноречием там, где оно, казалось бы, неуместно. Читателю судить, удалось ли ему осилить проблему, которую более двухсот семидесяти лет назад сформулировал Джон Клеланд, автор знаменитой "Фанни Хил": *"Приходится отыскивать золотую середину между тошнотворной грубостью скабресных, просторечных и непристойных выражений и смехотворной нелепостью жеманных метафор и пышных иносказаний"*.

У природы с ее далеко идущими видами на человечество для его совершенствования есть два инструмента – мужчина и женщина. По большому счету из всех их отношений природе важны только сексуальные, а из их талантов и навыков – способность к совокуплениям. Стремясь одушевить и облагородить физиологический цинизм соитий, человечество придумало любовь и ею, как одеждой прикрыло наготу репродуктивного рабства. Половой акт – это кульминация половых отношений и оргазм – его апогей. Странно, что люди стесняются этого синтетического состояния, сравнимого разве что с погружением в прорубь. Описать его во всей его художественной полноте и силе до сих пор не удавалось никому. Не удивительно, если учесть, что взаимная любовь, прирастая рано или поздно близостью, обретает новое качество

и чтобы выразить его, нужны могучие средства. О книге соитий упоминал в конце своей жизни В.Набоков. Надеюсь *"найти наконец выражение тому, что так редко удается передать современным описаниям соития"*, он утверждал что *"на самой высокой полке, при самом скверном освещении, но она уже существует, как существует чудотворство и смерть..."* Существует, но еще не написана, добавлю я. И этот роман – один из ее черновиков. Тем же побагровевшим от негодования читателям, кого покоробит неуместная, по их мнению (целомудренная, по моему), откровенность романа, спешу напомнить высказывание Ф.Ницше: *"Искусство, каким его исповедует художник – это покушение на все и всяческие стыдливости"*.

Итак, да здравствует любовь, и да не обвинят нас в злоупотреблении словоупотреблением!

*И ненависть моя спешит, чрез утоление,
опять, приняв любовь, зажечь пожар в крови.
К.Бальмонт*

Я склоняюсь над клавиатурой прожитых лет и погружаю в нее пальцы памяти. Ми-бемоль, си-бемоль, ре-бемоль, соль, до, фа, соль, ля, ре: Нина, Натали, Люси, Ирен, Софи, Лара, Лина, Лера, Ника. Мои самые близкие, самые звучные женщины из тех, кого вместили четыре (надеюсь, не последние) октавы моей жизни. Вслушайтесь вместе со мной в этот полный, причудливый аккорд. Слышите, слышите гармонию моего мужания? Неужели не слышите? Что ж, возможно, для неразборчивого уха аккорд и впрямь звучит неладно, и почитатели Мюзеты, Жаннетты, Жоржеты сочтут его сложный строй беспородным, а те, у кого нет моего слуха, и вовсе назовут меня плохим композитором. Тогда уж плохим танцором, ибо вынужден признать, что с некоторых пор звучащие во мне женщины вместо того чтобы способствовать, только мешают моему вальсу. Согласитесь: для вальсирующего мужчины, каким я пока являюсь, такая неприятность что-то вроде порванных на видном месте штанов – способна только смущать и отвлекать. А потому я намерен вмешаться.

Я хочу освободить моих милых наложниц от безликости гаремного сожительства, избавиться от общих мест и пометить каждую из них той краской и тем значением, которых она заслуживает. Возможно, отделив их друг от друга, оживив и прислушавшись, я смогу устранить диссонанс их сложения. Вопрос лишь в том, допустимо ли в этом случае (а если да, то в какой степени) принимать в расчет нравы, режимы, состояние умов, технический прогресс, лунный свет, солнечную активность и тому подобные примеси, красители и катализаторы жизни, что способны вмешиваться в химию чистой любви, а стало быть, влиять на высоту, тембр и длительность наших отношений с женщинами. Иными словами, возможно ли выделить и описать метафизическую суть райской иллюзии, в которую под влиянием женского начала впадает здоровый гетеросексуал, где бы и когда бы он ни жил и ни звучал, и так ли уж существенна при этом температура наружного воздуха и отсутствие ответной иллюзии?

Опасаться тут, как мне кажется, следует только одного: поскольку вход в хранилища моей памяти другим заказан, мне не избежать соблазна фальсификации. В самом деле: выставляя свою историю в выгодном для себя свете, я ничем не рискую, ибо вероятность того, что все, с кем я когда-либо имел дело, соберутся в одном месте и опровергнут мои небылицы, ничтожно мала, а это делает нотный стан памяти падким до фальши. Не удивлюсь, если суммарный результат окажется совсем не тем, на который я рассчитываю.

Итак, слушаем неутраченный вопль распяленных пальцев и с пониманием относимся к басовитым оговоркам вдохновения.

Нина

1

Не злись, уймись и улыбнись, мой милый друг, святая юность...

Сперва позвольте немного поскулить. Ведь капитальный ремонт души шенячью ностальгию в малых дозах допускает, не так ли? А если так, то вообразите протяжный призыв океанского лайнера, которым он оглашает безбрежный простор, и от которого дрожат внутренности и замирает сердце. Это и есть вибрато моей первой любви.

Ах, Нина, моя застенчивая Нина! Моя Джульетта, мое чистое, нежно рокочущее мибемоль мажорное умиление! Опорная ступень, тоника того причудливого лада, что стал широким руслом драматичной оратории моих чувств! Доставшаяся другому, она для меня по-прежнему непорочная юная девственница. Да, да, ироничные грамотеи – непорочная, юная и девственная: трижды масляное олимпийское масло! Нетронутая, нераспакованная, опечатанная сургучом моего обожания – такой она для меня была, есть и останется.

Щепетильности ради следует заметить, что Нина, которой я, следуя ее званию "первая любовь", отвожу сегодня почетное место в тронном зале моего женского королевства, стала на самом деле бурной кодой чудесной прелюдии из детских и отроческих затмений. Эти лампадные проблески любовной оторопи, эти хаотичные выхлесты грядущих помешательств одолевали меня с необъяснимой регулярностью. И поскольку ни строй, ни тональность моего настраивающегося любовного чувства были мне тогда неведомы, то внезапные приступы моих симпатий запомнились не столько мажорной сумбурностью, сколько крепнущей властью смущенного влечения. Словно внутри меня вдруг оживал некий сладкий, чарующий зов, совсем не похожий на материнский. В нем обнаруживалась непокорная родительскому попечению независимость, в нем жила томительная услада добровольного подчинения, неподвластная ни погоде, ни одежде, ни голоду, ни чему-либо другому, а лишь хотениям маленькой мучительницы. И хотя был я ребенком активным и общительным, мои выразительные средства в ту пору не поспевали за чувствами, а потому лучшими способами общения были молчание и подглядывание. Следовать за ничем не подозревающей девочкой взглядом, следить за игрой ее лица, отделять ее от других детей, облаков, птиц, звуков, запахов – вот партитура моего обожания. Пожалуй, понять меня в такие минуты могли только скупые, одинокие звуки рояля.

Ввергая меня в состояние праздничного смятения, влюбленности мои были лишены соперничества и ревности. Обратив на себя внимание, испытать неведомую благодать – вот цель тех побуждений, что толкали меня порой на нелепые поступки. Вижу себя в детском саду. Я сижу на стульчике возле очаровательной голубоглазой куклы, выдергиваю из ее мягкой, похожей на густой июльский луг кофточки пучки шерстяной травы и скатываю их в невесомый комок. Я не знаю, зачем это делаю. Знаю только, что мне повезло оказаться рядом с чудной пятилетней девочкой из сказки, и что это счастье нужно продлить каким угодно способом. И тот оглушительный скандал, которым воспитательница прервала мое упоение ("Васильев, ты что, совсем спятил?!"), сопровождался не раскаянием, а слезами обиды. Замечу попутно, что устойчивая тяга моих симпатий к большеглазой, ясноокой и светловолосой кукле обнаружилась именно в то время и потом долго еще служила мне маяком при выборе подружек.

К десяти годам ухаживания мои не превосходили того возбужденного апофеоза всех детских игр, когда интриганка-девочка вынуждает доверчивого мальчика броситься за ней в погоню, визгом своим обнаруживая повадки преследуемой и желающей быть пойманной дичи. Это ли не раннее проявление древнего женского инстинкта, от которого, говоря словами Малларме, женщина *как молний свет трепещет*? Существовали и другие, взрослые способы добиться внимания. Для этого следовало быть либо ловчее и находчивее других, либо уметь смешить. Я рано выбрал себе маску по сердцу: не шут гороховый, а герой после подвига – усталый и снисходительный, которому к лицу даже неожиданные попытки причинить солнцу боль. Так кусает изнывающий от нежности щенок, так царапает хозяина ревнивая кошка, так

исподтишка щиплет невнимательную девочку влюбленный в нее мальчик. Совокупный пример неразвитого, омраченного любовью сознания. Ничего такого, что не укладывалось бы в хрестоматию детского поведения тут нет, но удивляет цепкая живучесть обожания, что при всех разочарованиях сохраняет способность к реинкарнации.

Безусловно, то была самая доверчивая, самая чистоголосая, самая певучая пора моей жизни, и мир ее был ярок, резок, звучен и пахуч. И если я упоминаю о ней, то только потому, что нельзя не считаться с важностью инкубационного периода болезни по имени "любовь", который, как и регистратуру поликлиники, невозможно миновать стороной. Сегодня от моих детских увлечений не осталось ни лиц, ни имен, ни особых примет. Вскипев одно за другим, они испарились, повысив температуру Вселенной на бесконечно малую долю градуса. Их невинность подтверждена умилениями памяти, их следы нежны и возвышенны, а ценностью они превосходят самый дорогой антиквариат. Они как вулканические острова экзотического архипелага, которые я обживал, прежде чем причалить к любовному материку. Но перед тем как ступить на него я пережил героический возраст от десяти до двенадцати, на протяжении которого все попытки девчонок заставить себя догнать терпели крах, а сами они были на одно лицо и к тому же дуры. Отмеченное непризнанием за женским полом какой-либо пользы для меня и остального мира, это оскопленное мировоззрение безбрежным горизонтом опоясало мое двухлетнее плаванье.

С чем сравнить те дерзкие, непочтительные к женской участи откровения малолетних матросов, что изрекались ими с верхней палубы плывущего среди звездной бездны корабля моего отрочества? Наверное, только с богохульством отпетых пиратов. Такое впечатление, что у них не было матерей, и свое происхождение они вели от безымянных волчиц. Я слушал их с тайным стыдом, не особо заботясь о том, что половой авторитет непорочных хулителей подкреплялся лишь щербатой ухмылкой, вонючей папиросой, прищуренным глазом и непомерным сквернословием. Обозначая женщин хмыкающей кличкой "бабы", они втаптывали их прелести в грязь с тем же воинственным пылом, с каким защищали себя от собственной похоти средневековые монахи. Извращенная, противоестественная хвала воздержанию, уместная, быть может, в кругосветном плавании, но не на пороге половой зрелости. Как бы то ни было, к мирскому континенту я подплывал с крепнущим мужским достоинством в кулаке, чье гордое, стерильное одиночество нельзя было, как мне тогда внушалось, доверить ни одной женщине.

В тринадцать лет, после двухлетнего карантина и за год до моей встречи с Ниной я пережил два коротких увлечения, отмеченных в первую очередь гулом сходящей с моих размороженных чувств лавины детского цинизма. Именно тогда мои предпочтения обрели имена, лица и повадки. Чудные, надо сказать, имена, прелестные лица и повадки! И если их нет в моем аккорде, то только потому, что они оказались лишь форшлагами к будущей тонике. Для тех, кто не знает, что это такое, поясню: форшлагги – это легкие и короткие, как моргание нотки, без которых немислим джаз любви. Словно зыбкая золотая мошкара вьются они вокруг основных ступеней лада, обнаруживая долготу, широту и прозрачность музыкального пространства. Каждому из нас, смею вас заверить, приходилось быть форшлагом, даже если мы об этом не подозревали. Другое дело, что кого-то такая подсобная роль устраивает, а кого-то нет.

В ту пору я впервые познал окрыляющую силу взаимности. "Васильев, я тебя люблю" – читал я подсунутую мне на перемене записку и после ломал голову над тем, кто мог ее написать. Я искал ответ на лице моей возлюбленной, но на меня смотрели безмятежным карим взором. Мне ничего не оставалось, как приписать авторство ей и возликовать. Верный образу героя, я несколько дней донимал мою избранницу утомленными, снисходительными взглядами.

Когда кто-то долго на вас смотрит, вы обязательно обернетесь. Так и я: однажды, беспоконно обернувшись, я поймал ускользающий взгляд неуклюжей, близорукой одноклассницы и догадался, кто был настоящим автором признания. Разочарование было так велико, что зато-

пило костер моего безответного чувства, и он, обдав меня шипящим паром обиды, потух. В отместку я переадресовал волны моей любовной энергии подруге бесчувственной милашки и быстро добился ее внимания – столь же капризного, как и ревнивого. Все это я сообщаю для того, чтобы вы знали, в каком непрестом положении я оказался накануне встречи с Ниной.

2

Опрятным золотом сияет строкою красной новый день...

Уж, кажется, что-то, а день моей первой встречи с Ниной должен являться мне по первому зову и во всех подробностях. А между тем я его едва помню. И если он все же является, то только потому, что я знаю, каким должен был быть четырнадцатилетний, раскрасневшийся, принаряженный день первого сентября 1975 года в городе Подольске, что под Москвой.

Ну вот, теперь вы знаете мой возраст. Да, я стар, но не старше Космоса: Гагарин стартовал двенадцатого, а я – тринадцатого апреля того же года, так что имя мое родителям подсказал сам Космос, отчего едва родившись, я уже был в списке избранных. Разумеется, своим возрастом я рискую отпугнуть от себя весомую часть молодых читателей (если они, конечно, не сбегали еще раньше) – тех, для которых события, возрастом превосходящие год их рождения, представляют унылый исторический интерес. К тому же они убеждены, что нет ничего старомоднее и скучнее, чем любовь их родителей. На то у меня есть три возражения.

Во-первых, мы в свое время думали также.

Во-вторых, тем мальчишкам, что собираются дожить хотя бы до моего возраста, полезно знать, что их ждет после того, как они начнут бриться каждый день.

И в-третьих. Те великие и трагические, нелепые и унижительные, воспетые и оболганные события, свидетелем и участником которых я был, сегодня всего лишь мутноватый раствор в реторте новейшей истории страны – безобидный и нейтральный к тем чувствам и образам, которые я собираюсь воскресить. Иначе говоря, средой обитания в моем случае мог быть и бронзовый век, и Древний Рим, и средние века, и даже будущие столетия. Обещаю: никакого Хельсинского акта, ни мирового империализма, ни КПСС, ни КГБ, ни диссидентов, ни плодов их солидарных усилий – будущих гомункулов-олигархов. Любовь и только любовь: ничего кроме любви и ее перевоплощений!

Итак, оставляю в стороне заметенный белыми передниками и увешанный рябиновыми гроздьями пионерских галстуков школьный двор, солнечные часы тополей, невыспавшееся солнце, позевывающий ветерок, крошечные граммофоны петуний, испускающие дежурные звуки "Школьного вальса" и перевожу взгляд на Нину, имени которой в тот момент еще не знаю. Моему любопытству она представлена, как "новенькая". На ней та же коричневая форма с белым передником, что и на повзрослевших за лето одноклассниках. Располагается она, как и положено новенькой, в стороне от их возбужденной и отутюженной компании. Вижу светло-волосую головку и выбеленную белой лентой косу. Вижу резной профиль и опоясанную кружевным воротничком шейку. Сведя внизу тонкие, отороченные белыми манжетами запястья, она кончиками пальцев удерживает на весу черный портфель. Он прикрывает ее колени, и она ими нервно, по очереди его подталкивает. Плечи ее немного отведены назад, отчего под фартуком отчетливо бугрится грудь. Новое волнующее качество, которое вдруг обнаруживается у некоторых моих скороспелых сверстниц. Роста она среднего, ни полная, ни худая, ни яркая, ни блеклая, ни резвая, ни смиренная. Словом, белогрудая, отбившаяся от стаи птичка. Удовлетворив мимолетное любопытство, я обернулся к милым моему сердцу друзьям и включился в коллективное сочинение на тему, кто, где и как провел лето. Ни сердцебиения, ни искры, ни таинственных флюидов, ни прочих характерных признаков любви с первого взгляда я не испытал. Потом объявили построение, и торжество поглотило и разделило нас.

Наша классная усадила ее за вторую парту, мне же удалось устроиться на предпоследней в том же ряду. Это уже после и по мере того, как во мне разгорался эпохальный пожар, я приспособился как бы ненароком ронять рядом с партой какой-нибудь предмет и, подбирая его, высовывался из ряда вон, чтобы быстрым взглядом обласкать локоток моей возлюбленной. Увы, все остальное пряталось за взрослеющей стеной спин и затылков. Молчать и подглядывать – о, как мне это было знакомо!

Несколько дней ушло на наведение порядка в изрядно запущенных за лето мужских делах. Тем временем Нина сблизилась с девчонками и обзавелась первыми подружками, одной из которых стала моя действующая пассия. Впрочем, пассия – слишком сильно сказано. Мой платонический интерес проявлялся в том, что я смущенным взглядом, неловким словом, скованным жестом выделял ее среди одноклассниц, и она благосклонно мне внимала. Этого было достаточно, чтобы мой друг Гоша при виде ее толкал меня локтем и ухмылялся: "Вон твоя Валька идет!" Не скрою, мне было приятно это слышать: Валька была порывистой рыжей ведьмой с широко распахнутыми небесными глазами и нужды в поклонниках не испытывала. Видимо, уверенная в своих чарах, она безбоязненно отрекомендовала меня Нине, как "Васильева-который-умеет-играть-на-пианино".

Прошла неделя. По школе еще витал тающий запах краски, и вот однажды я увидел их на перемене, стоящими в коридоре у окна. Валька подала мне знак, и я развязно приблизился. За неделю я так и не удосужился разглядеть новенькую вблизи, не находя в ней издали достойств выше, скажем, Валькиных.

"Вот тебя спросить хотят!" – сообщила Валька, указывая на Нину. Я перевел взгляд на новенькую и тут впервые разглядел ее.

"Да, я эстет!" – без ложной скромности заявляю я сегодня. Всегда им был и останусь. И вздорная жизнь, вместо того чтобы приучить меня к компромиссам, только обострила этот мой недостаток. Знакомство с женщиной я начинаю с лица, и если оно не заставляет звучать мое лирическое чувство, им же и заканчиваю. Только некий тайный знак его принадлежности к миру прекрасного открывает мое сердце. При этом женщина может быть глупа и кривонога, но красивое лицо искупает ее недостатки, также как прекрасное тело не в силах заставить меня полюбить некрасивое лицо. Что поделать: таково мое извращенное и одностороннее представление о предмете поклонения.

В лице Нины я разглядел не темперамент, не кокетство, а ту застенчивую гармонию тонких черт, на которую я так падаю до сих пор. Она смотрела на меня большими, ясными глазами (еще один родовой признак моих влюбленностей) и на губах ее теплилась смущенная улыбка. Сегодня я не понимаю тех, кто восторгается Моной Лизой, кто приписывает ее судорожной гримасе некую мистическую тайну, утверждая, что так могла бы улыбаться богородица, если бы иконописцы позволили ей улыбаться. Я говорю им: "Несчастные! Вы восторгаетесь Моной Лизой только потому, что не видели улыбки моей Нины!"

"Юра, – качнулся в мою сторону серебряный колокольчик ее голоса, – Валя сказала, что ты ходишь в музыкальную школу..."

Я завороченно подтвердил. Оказалось, что ее отец – военный, и она с семьей переехала в наш город буквально накануне учебного года. Там, где они жили раньше, Нина ходила в музыкальную школу и теперь хотела бы знать...

"Да, да, я покажу, я все покажу!" – заторопился я. И в ту же секунду ее застенчивая улыбка затянула петлю на горле моей симпатии к Вальке.

Спешу заметить, что повествуя о генезисе моего чувства, для обозначения которого я вынужден пользоваться изношенным до смущенных дыр словом любовь, я хотел бы отстраниться от тех чудовищных наслоений, что оставили на нем тысячелетия человеческой практики и, говоря чужими словами, заставить его сиять заново. Я не приобщался к "любви" – я открывал новое, особое, незнакомое для себя состояние возвышенной, самоотверженной

покорности слабому полу в его первоизданном языческом виде. С презумпцией непорочности и конституцией святости, ни на что не претендующее и не требующее ничего взамен. Видя Нину на физкультуре в трусах и футболке, я отводил глаза и желал, чтобы урок поскорее закончился. Любоваться ею обнаженной я был тогда не готов, а богиня в спортивных трусах – согласитесь, это богохульство! Она была создана не для спортивной арены, а для алькова, говорю я сегодня и с запоздалым воплем взываю к небесам: "Там должен был быть я, Юрка Васильев, любивший Нину как никто и никогда!!"

Возможно, оглушенный воплем читатель, поморщившись, спросит, зачем я ворошу тома памяти и что в них ищу. "Партитуру утраченной гармонии" – отвечу я. Оживить то, что когда-то умертвил, натянуть и заставить звучать порванные струны несбывшегося; разглядеть контуры того нетвердого, зыбкого мира, что страдает, непонятый и обделенный в ожидании воздаяния – вот цель моего эксперимента. Только так смогу я успокоить свою совесть и умиротворить фантомы прошлого, только так обретут они покой, а я – прощение.

Вижу тех, кто уже зачислил мой стиль в разряд старомодных. По их мнению, после Херби Хэнкока слушать Арта Тейтума – это, знаете ли, коробить слух. А между тем Арт Тейтум для джаза – то же самое что Набоков для литературы (музыкального слуха, увы, лишенный). Разве стили того и другого потеряли с тех пор свое поэтическое очарование? Да любой из нынешних подмастерьев был бы счастлив владеть хотя бы сотой их частью! Записав в 1942 свою версию знаменитой "Розетты", Джордж Ширинг забрался на самый пик рэгтайма, где и поставил на нем золотой крест. Внятная и точная, это была самая розетистая "Розетта" из всех наигранных и записанных. Выше, чем у великих Эрла Хайнса и Тэдди Уилсона. К этому времени Чарли Паркер уже нащупал новые принципы звукосложения. А потом были Телониус Монк, Диззи Гиллеспи и Бад Пауэлл. А потом из джаза мало-помалу стало исчезать чувство, пока он не обмелел до голой техники, до навязчивой стилизации, до бессовестного подражания, чтобы сегодня паразитировать на ритмичной, синусоидальной природе человеческого существа. Иными словами, не потому Чарли Паркер и компания стали первооткрывателями, что были талантливы, а потому что им было, что открывать. В отличие от ограниченного джазового (и литературного, кстати, тоже) пространства любовь неисчерпаема и открывается нами вновь и вновь. Вот такая она, любовь. Не лишне заметить, что джаз – это озвученная пульсация сердца, которая живет в каждом из нас. Наше сердце подобно контрабасу: оно задает ритм и контрапункт, и если даже мы их не осознаем, именно под них живем и импровизируем, а уж получается из этого гармония или разлад, зависит от нас.

3

Умри, любовь, умри сегодня, чтоб завтра возродиться вновь...

Если вы до сих пор не добрались до клавиатуры и не попробовали мой аккорд, так сказать, на зуб, значит, вам ничего не остается, как представить себе одержимого новым, ошеломительным чувством мальчонку, в крови которого, не умолкая, бурлит густая низкая вибрация ми-бемоль мажорной тональности.

Несмотря на опоздание, Нину в музыкальную школу приняли, и хотя часы наших занятий не совпадали, все, что мне нужно было сделать, дождавшись ее – это как можно убедительнее изобразить удивление от встречи и не покраснеть при этом. Дома наши находились на чувствительном друг от друга расстоянии, но имелась достаточно продолжительная часть обратного пути, которая нас соединяла. Мы брели по дороге и, поощряемый тихой улыбкой, я развлекал ее пересказом школьных новостей и сплетен в их мужской, так сказать, редакции. Приходилось нам обсуждать книги и новые фильмы, а также все, все, все, чем можно было заполнить неловкие паузы, которых я панически боялся. Мне казалось, что Нина тщательно скрывает скуку и, оставленная без присмотра, скука ее того и гляди прорвется наружу и явится

мне, невыносимо оскорбительная. Но нет, чаще всего Нина первая нарушала молчание. Дважды мне довелось проводить ее до дома, в остальных же случаях она, расставаясь со мной на перекрестке семи ветров, говорила: "До свиданья, Юра, до завтра!", и я, влюбленный юродивый, отправлялся домой за завтрашним днем.

И все же правда просочилась. Возможно, кто-то увидел нас вместе, а может, перехватил мой собачий взгляд, которым я на нее смотрел, и однажды, когда я в очередной раз собрался ее провожать, она помялась и сказала, что провожать ее не надо. На мое растерянное "Почему??" она ответила, что оказывается я дружу со всеми девочками по очереди и ради нее бросил Вальку, а это нечестно. На мое отчаянное требование выдать мне источник гнусной лжи Нина на Вальку же и указала, после чего ушла, оставив меня в яростном недоумении.

Утром я отозвал Вальку в укромный угол и потребовал объяснений.

"Подумаешь! – сверкнула лазурной молнией рыжая бестия. – Только что заявила, и сразу ей наших мальчишек подавай!"

"Ты, Валька, дура набитая, и я не хочу тебя больше знать!" – окатил я ее шипящей ненавистью.

После Валькиного вмешательства Нина отдалилась от меня и от Вальки и сошлась с двумя тихими, незаметными девочками. В школе без особой нужды не задерживалась, провожать себя не разрешала, и остаток года и всю зиму я возвращался из музыкальной школы один. Я узнал, что такое любовное страдание. Маска героя слетела с меня, во мне поселились тоскливое ожидание и ноющее недоумение – беспольные спутники безответной любви, мало что объясняющие в ее природе. Да, я мог бы объяснить себе и другим, чем Нина отличается от остальных девчонок. Но объяснить, почему я тоскую по ней, и зачем мне ее внимание я бы не смог. На что я был готов ради нее? На все, кроме одного: встать и на весь класс сказать: "Да, я люблю Нину Ермакову, и пошли вы все к черту!"

Я был ловок и спортивен и, играя в баскетбол, срывал восторги девчонок. Однако надежное ранее средство на Нину не действовало: от нее веяло прохладной сдержанностью. Удивляя учителей ненормальным рвением, я тянул руку, чтобы выйдя к доске, попытаться поймать ее взгляд. Но его от меня прятали, лишь иногда одаривая быстрой, виноватой улыбкой. Что еще я мог сделать? И я натягивал ненавистную маску шута и лез из кожи вон, чтобы заставить ее улыбнуться. Я был неглуп и остроумен и, желая привлечь внимание Нины, регулярно подавал со своей "камчатки" удачные реплики, заставлявшие класс давиться смехом. Словом, я делал, все, что мог. Не позволил себе лишь одного: демонстративно приударить за другой девчонкой. Так и жил – непорочный, неприкаянный и одинокий.

Весной случилось чудо: моя красавица оттаяла. К этому времени Валька спуталась с Гошей, и мне, наконец, было позволено проводить мою лебедушку до дома. От счастья у меня чесались лопатки – видимо, пробивались крылья. Дошло до того, что я добился разрешения сидеть с ней за одной партой. Наверстывая упущенное, мы шептались на уроке, как малые дети, и ее улыбка заслоняла от меня остальной мир. Моему счастью был отпущен целый месяц, и на выпускном для восьмиклассников я, обжигая пальцы о нарядное темно-синее платье Нины, первый раз в жизни и весь вечер с ней танцевал.

Начались каникулы, и я повадился приходить во двор ее дома, где ждал, когда она спустится вниз, и мы пойдем дышать терпким ароматом молодой листвы. Потом наступила жара, и мы пристрастились к речке, куда вдвоем или в компании добирались на автобусе. Там я впервые увидел ее в купальнике. Мы лежали рядом на песке, и я ощущал покалывающие признаки незнакомого смущения. От ее тела исходило незримое сияние, и мне казалось, что если я прикоснусь к нему (о чем я и помыслить не мог), то непременно обожгусь. По вечерам мы забирались в душный зал кинотеатра, где я, косясь в темноте на ее мерцающий профиль, мечтал дотронуться до ее призывно возложенной на подлокотник руки. Вдобавок ко всему мне стали сниться странные сны. В них неясное женоподобное существо, навязчивое и обнаженное,

затевало со мной томительные игры, быстро и нежно касалось сокровенных частей моего тела, доводя меня до электрического помешательства. Сверкала молния, и я просыпался, горячий и вздрагивающий. Труссы липли к бедрам, и я, испытывая густой стыд, благодарил властелина снов за то, что дерзким существом была не Нина, ибо ей не пристало знать о моем постыдном недостатке. Если бы мне было позволено, я бы взял ее на руки и унес подальше от людей. Усадил бы на трон в каком-нибудь заброшенном, увитом плющом дворце, и провел остаток дней у ее ног, покидая дворец только для того, чтобы сходить в соседний магазин за продуктами.

4

Открытки с видами чужой планеты мне шлешь во сне ты...

Сообщу о некоторых открытиях, что совершил в то время, но сформулировал много позже. Итак:

Любовь – чувство самодостаточное: взаимность желательна, но не обязательна.

Так называемая "первая любовь" есть апофеоз бескорыстного детского и отроческого влечения. Даже будучи отвергнутой, она навсегда поселяется в душе, оставаясь последним прибежищем человечности даже самого отпетого негодяя.

Если капнуть на нее фиолетовым лакмусом плотского влечения, она не изменит своей белоснежной сути. Поцелуй в этом возрасте есть лишь подтверждение взаимности, а вовсе не дверь в покои похоти.

Притворство – такая же равноправная часть любви, как и искренность, а обман во имя любви порой весомее клятвы.

Если бы один человек умел читать мысли другого, это бы был совсем другой мир. Не читать, но чувствовать их – вот привилегия влюбленных.

И еще одно любопытное открытие, которое я по причине скудоумия не мог тогда сформулировать, и которое вошло в меня в образе коварной Вальки, а именно: здоровый эгоизм юности считал мое чувство к Нине уникальным и неповторимым, а Валькино ко мне – вздорным и несерьезным. Иначе говоря, я априори отказывал в высоком чувстве другим, удивляясь той жесточенности, с которой они его отстаивали. Весьма, кстати говоря, живучее и долгоиграющее заблуждение. Можно только удивляться, что имея возвышенное основание, оно вместо того чтобы поделиться им с человечеством, делает многих его врагами.

Но вернемся к радужным миражам грез над горной стремниной жизни, как говаривал старик Овидий. Увы: жизнь предлагает нам свою версию бытия, мы ей – свою, и правила игры у них разные. Согласитесь: между "мать" и "твою мать" есть существенная разница. Именно последнее, коннотативное значение я и употребил, узнав, что отца Нины переводят в Германию. Случилось это накануне девятого класса, в самый разгар наших трогательных отношений. Она уехала, и больше я ее никогда не видел. Проклятая Германия – она убила моего деда и вычеркнула из моей жизни Нину! Впоследствии, особенно в тяжкие для меня минуты печального одиночества, я возвращался мыслями к живому холсту моей памяти о Нине – пустому, всего лишь загрунтованному светозарным, голубовато-розовым фоном – и набрасывал на нем контуры нашего сослагательного будущего. Например, рисовал наш первый поцелуй или нашу особую, без начала и конца брачную ночь. Живописал ее яркие, обжигающие подробности: мы лежим, привыкая к новой коже и обмениваясь приступами дрожи. Она откидывается на спину и тянет меня за собой. Я припадаю к ней, и мы легко и просто познаем созидательную судорогу любви. Наконец-то мы изгнаны из рая и отныне принадлежим только самим себе! А вот рисунок, сделанный цветными карандашами нашего младшего сына: красное солнце, голубое небо, огуречно-спичечноногорукое я, Нина, он сам и его брат рядом с нашим квадратным, парящим над зелеными деревьями домом. Знаю: я сделал бы все, чтобы даже в самые тяжелые времена мои жена и дети ни в чем не нуждались.

Я смотрю на фотографию из тех дней. Мы с Ниной стоим в школьном саду под распутившейся, как наши чувства яблоней – юные и смущенные, словно нежно-розовые бутоны перед опылением. Она стройна и грациозна, ей, как и мне пятнадцать, и все же она очевидно взрослее меня. Она уже на самом пороге женственности, во мне же нет ни капли мужественности. Она одета в строгое демисезонное пальто, на мне – куцый пиджак, толстый свитер и мятые, пузырящиеся брюки. Ее волосы аккуратно забраны в светлую, переброшенную на грудь косу, мои черны и неопрятно лохматы. Она пребывает в том переходном, двусмысленном состоянии, когда женщина, одной рукой цепляясь за ангела, другой тянется к дьяволу. Во мне же бушует стерильное, безгреховное, неопалимое олимпийское пламя. Райская иллюзия, божья милость, несовершеннолетний Эдем.

Я знаю – где-то на другой планете есть прекрасный солнечный город. Там живем мы с Ниной, там живут наши дети и внуки. Там каждую весну расцветает яблоня, и мы приходим к ней, чтобы любоваться ее свадебным нарядом. Нужно лишь в это верить, моя радость – верить и любить. Иначе на кой черт они нужны, эти параллельные миры?!

Натали

1

Богатство стен и бегство статуй пустой не терпит пьедестал.

Чувства важнее и сильнее разума. Они – наш внутренний океан, они – среда обитания нашей личности. В литературе важны не мысли, не слова, а образы. Только они одни и могут вернуть нас к чувственным вещам, чьи суверенные права узурпированы словами. Образы есть прочные сходни к наитию, а истинная литература – это гипноз. "Когда я скажу *три*, вы заплачете. Раз, два..."

Литературе интересны не поступки, а их последствия, не брачная ночь, а заявление о разводе. Сегодня, когда изрядное число читателей воспринимает литературу, как внебрачную дочь психологии, укрыться от их саркастических "верю – не верю" невозможно даже за скроморощими обносками постмодернизма. Взыскательному читателю, однако, следует помнить, что дотошность есть беспардонная сестра пыливости, а язвительная пронизательность уютнее навязчивого любопытства. Логика убивает чувства, и поскольку переживания сюминутны, литература любит невзыскательных и доверчивых. И то сказать: как можно всерьез относиться к тем несуразным переживаниям, которыми бессердечные авторы пытаются своих героев? Только приняв их на веру! Скажем откровенно: время изящных сервизов, столового серебра и умных разговоров прошло. Наступила эпоха иллюстрированных журналов, одноразовой посуды и пошлых пародистов. Но что за дело порхающей над скошенным лугом бабочке до бескрылых энтомологов и их мнения о ней? С другой стороны, снисходительность мудрее хулы, ибо конец у всех один, а жизнь подобна залу ожидания, где каждый убивает время как может. Мы убиваем время, а время убивает нас. К сему почтительнейше напоминаю, что предмет моего эссе есть некая вещь, условно именуемая "любовь". *What is This Thing Called Love, This Funny Thing Called Love?* – вопрошаю я вместе с Коулом Портером.

Лучшие учителя мужчины – его женщины. Не было бы их – не было бы нас. Таково одно из моих упрямых заблуждений. Именно поэтому я выбираю из моего любовного архива только те эпизоды, где чувства с поучительной наглядностью переплавляются в опыт, а опыт становится наукой, которая, к сожалению, ничему не учит. Не потому ли мои рассуждения о любви – это по выражению Сартра *"рассуждения, глотающие слезы"*?

После расставания с Ниной я вернул себе маску героя, подрисовал на ней улыбку всеохватной иронии и вместе с моими сверстниками с хохотом вступал в большую жизнь, имея часоточное намерение все в ней поменять. И никто не знал о моей внутренней Волге, по берегу

которой я, влюбленный бурлак, тянул баржу моей несчастной любви. Так и дотянул ее до десятого класса, с чем и ушел на каникулы. В ту пору мне исполнилось шестнадцать, и был я зеленый и нецелованный, как трехрублевая денежная купюра на складе Госзнака. И как раз в это время наполнилось спорным значением мое главное мужское качество. Дело в том, что с некоторых пор я стал стесняться моего атрибута, чьи внушительные габариты уже обозначились и сулили мне в будущем веселую половую жизнь. Скорее убедительный, чем безобразный, он моим легкоранимым и неопытным самолюбием воспринимался, однако, в том превратном свете, что способен обратить в несносный недостаток самое лестное качество. И даже почтительное восхищение моего закадычного друга Гоши не спешило избавлять меня от юношеского предубеждения. Ища моему достоинству подобие среди богатой разновидности холодного оружия, я бы остановился на слегка изогнутом клинке – что-то вроде японского танто, который я с богатой гаммой чувств (от ласкового до свирепого) вонзал в дальнейшем в тела моих нежных жертв. На пляже я упаковывал его в обтягивающие плавки и прикрывал сверху спортивными трусами.

Диспозиция на тот момент была такова. Свойства моей вполне взрослой царь-пушки давно уже не являлись для меня секретом, и сама она время от времени участвовала в потешных сражениях, постреливая отнюдь не холостыми. Но отдельные акты самопознания, принося временное удовлетворение, лишь разжигали аппетит. Мое огнедышащее орудие рвалось в настоящий бой. Оставалось найти ту, в которую оно должно будет палить. Кстати говоря, во все времена оба пола подходят к потере невинности по-своему, но в одинаковом неведении. В то время как мальчишки *играют пушечкой своей*, девчонки потирают свою волшебную лампу и не догадываются, что в один прекрасный день к ним вместо надушенного принца явится грубый потный Алладин, откупорит их лампу и выпустит из нее джина.

В то лето я тайно и страстно вожделел. Это было новое несносное состояние, которое я никогда не испытывал рядом с Ниной. А между тем предметы моего вожделения находились вокруг меня. Особое значение приобрели походы на пляж, где я глазел на голоногих, голопузых девчонок, находя их всех до одной прелестными и при всей их кажущейся доступности – недостижимыми. Точнее сказать, опечатанными семью печатями невинности. Сначала свадьба, а потом постель – такой непрерываемой последовательности требовали от нас представления того времени. О, святая пора юношеского благоденствия! Как же далек я был от той поздней искушенности, когда для того чтобы совратить женщину, мне достаточно было подкрепить мое намерение коротким притворным ухаживанием!

Натали словно возникла из воздуха. Еще вчера невидимая, она вдруг материализовалась и оказалась девчонкой из соседнего двора, не раз мимо меня проходившая и не оставлявшая после себя никаких следов. Была она на год меня моложе и училась в той же школе, что и я. Однажды в конце июня, когда вечерние сумерки сгустили небесную синеву до тенистой прохлады, я, поживаясь от свежего загара, спустился во двор, где меня ждал долгий, как кругосветное путешествие вечер. Метрах в двадцати от себя я заметил небольшую компанию друзей. Сунув руки в карманы, я направился к ним и уже приготовился предъявить входной билет – насмешливую реплику, как вдруг взгляд мой упал на незнакомую девчонку, которая стояла ко мне вполоборота. Короткая юбочка, тугая, навывпуск футболка и живая, игривая пластика ног. Держа перед собой пляжную сумку, она пружинисто переминалась на носках, слегка раскачиваясь, подрагивая и поигрывая подтянутыми ровными икрами. Прямая спина, длинный хвост волос, откиннутые плечи – была в ее стройной фигурке диковатая, зрелая независимость. В то время женская фигура еще виделась мне неразложимой на части, а потому я воспринял ее, как единое, весьма симпатичное целое. И более позднее Гошино замечание: "Ты смотри, чувак, какие у нее ноги! И попа тоже!" заставило меня лишь смутиться. Я подошел, она обернулась и, сияя белозубой улыбкой, уставилась на меня. Находясь в возрасте поздней Нины, она была одного с ней роста, к чему мой личный Прокруст отнесся весьма благожелательно. Только

абсолютные, не подлежащие переоценке прелести моей Нины не позволяют мне остановиться на достоинствах поджарой Натальиной фигурки. Замечу только, что у пары "Наталья – талия" резонанс не только фонетический, но и эстетический. Ее гладкие ноги на тонких лодыжках имели чистую, волнующую линию. Те же хрупкие, узловатые коленки и та же манера подталкивать ими сумку. К сему прилагалась разумных размеров грудь. Дальше начинаются расхождения и касаются они в первую очередь лица (беспородную русоголовость я, так и быть, проглочу). Да, миленькое, чистенькое, губастенькое и зубастенькое, но... застенчивой гармонии тонких черт, какой пленила меня Нина, я в нем не разглядел. Впрочем, проглочу и его. Хотя, нет: сначала прожую.

Было в выражении ее лица какое-то раннее женское всезнайство, некая ускользающая от порицания грешность, этакая не по годам портновская цепкость взгляда, редкий, можно сказать, для ее возраста глаз-ватерпас и та же дерзкая, многообещающая, как и у Вальки, искра в глазах. Она смотрела на меня со снисходительной усмешкой, как смотрят на маленьких. Случайным, необязательным движением она поднесла к лицу руку, и я отметил, что запястья у нее толстоваты, пальцы коротковаты, а ногти розовые и плоские. Впрочем, недостатки ее вполне укладывались в мой похотливый интерес: мне не нужна была вторая Нина, к которой я не полез бы в трусы даже под страхом смерти. Она сказала: "Ну, я пошла!", повернулась и ушла. "Кто это?" – спросил я. "Наташка из 35-го дома!" – был небрежный ответ.

На следующий день я увидел ее на пляже. Она была с подругой (эта точно жила в нашем доме и, как выяснилось, училась с ней в одном классе), и когда подруга ушла играть в волейбол, я, подбадривая оробевшее, увязающее в горячем песке сердце, направился к ней. Наталья лежала на спине, прикрыв сгибом локтя глаза и выставив на всеобщее обозрение хрупкие шестки ключиц, наполовину упакованные любознательные полушария, овальное вогнутое блюдо живота с похожим на нахмуренный глаз пупком, скрещенные гладкие ноги и ту свою бугристую часть, что была защищена стыдом и тугими темно-синими плавками. Испытывая крепнущее волнение в области таза и не сводя глаз с лакомого бугорка, я подкрался, сел рядом и сказал:

"Привет!"

Она откинула руку и быстро села.

"Слушай, мы, оказывается, живем рядом! А почему же я тебя раньше не видел?" – вспотел я от волнения.

"Зато я тебя видела! – усмехнулась она. – Ты Васильев..."

"Точно! А ты откуда знаешь?"

"Кто же тебя не знает..." – загадочно улыбнулась она.

"В смысле?" – напрягся я.

"Ну, ты же у нас такой правильный. Хорошо учишься, на пианино играешь и в баскетбол лучше всех, – растягивала она иронией слова, словно высматривая место для удара и, примерившись, вдруг быстро и точно ударила под дых: – И с девчонками не дружишь..."

"Кто тебе сказал?" – вскинулся я.

"Все знают" – смотрела она на меня с прищуренной нагловатой иронией.

"Ну и что дальше?"

"Ничего. Ты спросил – я ответила"

"А если я с тобой хочу дружить?" – покраснел я.

"Вообще-то мне нравятся взрослые мальчишки!" – усмехнулась она.

"Интересно, а я какой?"

"А ты еще маленький" – глядела она на меня с невыносимой усмешкой.

"Я маленький? Я маленький?! – взбеленился я. – А сама-то ты какая? Что, очень большая?!"

"Да, большая" – насмешливо шурилась она.

Это мне что, так отказывают? И кто – эта задиристая малявка? Мне что, встать и уйти?!

"А если я все же попробую?" – смирил я гордыню.

Она смерила (я смирил, она смерила) меня своим портновским глазом и усмехнулась:

"Хм, ну, попробуй..."

"Слушай, а чего ты такая гордая?" – возмутился я, не в силах оторвать от нее глаз. Она нравилась мне все больше и больше.

"Я не гордая, я своенравная" – дерзили мне карие глаза.

"Ну, тогда идем купаться!"

"Ну, идем..."

Мы искупались и потом на глазах удивленной моим вторжением подруги сидели и говорили обо всем на свете. Вернее, говорил я, а Наталья сидела боком, опершись на руку, вздернув острое плечо и целясь в меня глянцевыми коленками. Совсем как копенгагенская русалочка, о которой она наверняка слыхом не слыхивала. Она слушала с легкой улыбкой, опустив глаза и просеивая другой рукой песок, которым отмеряла время нашего знакомства. Песочные часы моего вожделения...

2

Улыбкой маски безмятежной судьбы скрывается мятеж...

Как, однако, стремительно и бесцеремонно эта норовистая девчонка вторглась в мой привычный мир! Не прошло и получаса, как она уже распорядилась моей жизнью: заслонила собой ревнивое солнце, отодвинула на задний план сухой горячий воздух, редкие, с соляным блеском облака, робкую прохладу и рыбный запах реки, пляжный гомон, удивленную подругу и разноцветный хоровод купальников. Ее вкрадчивая грация, снисходительная улыбка, далекие от смущения манеры и насмешливые замечания словно говорили: "Да, я знаю, чего ты хочешь. Знаю и не бегу от тебя". От нее веяло дразнящей доступностью, и похотливое помешательство распространилось по мне со скоростью внезапного расстройства желудка.

С пляжа возвращались вдвоем. Напяливая то маску героя, то клоуна, вещая то покровительственно, то дурашливо, я исподтишка любовался золотистым отливом Натальиной кожи и тонул в удушливой грезе. Дошли до нашего дома, расстались с подругой, и я предложил:

"Хочешь, вечером погуляем или в кино ходим?"

Она подумала и неожиданно покладисто ответила:

"Можно..."

"Тогда давай здесь, в восемь, хорошо?"

"Хорошо..."

В восемь я, сторонясь вечерних компаний, ждал ее на подступах к дому. Она неожиданно вынырнула из-за угла и бесшумно поплыла ко мне, словно аккуратное темно-сиреневое облачко. Доплыв, вскинула на меня глаза и улыбнулась. Ее приталенное, с крошечными рукавичками платьице обнажало ее тонкие руки и ноги и делало ее похожей на миниатюрную фарфоровую статуэтку с комода моей бабушки. Гладкие, зачесанные назад волосы были схвачены на затылке мохнатой сиреневой резинкой, а на чистом загорелом лице теплилась смущенная улыбка.

В тот вечер мы гуляли долго и с наслаждением, а нагулявшись, подошли к ее дому и укрылись под березами. Нерешительно переступив, она вдруг спросила, почему я решил дружить с ней, когда вокруг полно других девчонок.

"Я знаю, любая из нашей школы рада с тобой дружить! А я – кто я такая?" – тихо и напряженно говорила она, подняв на меня немигающий взгляд.

В ответ я с чистым сердцем признался, что она самая классная девчонка из всех, кого я знаю.

"Тебе, наверное, что-нибудь про меня рассказали... Что-нибудь плохое..." – не унималась она.

"Да никто мне ничего не рассказывал!" – занервничал я.

"Так вот если будут рассказывать – никому не верь, понял? Врут они всё!" – возбужденно проговорила она и, круто развернувшись, зашагала под немигающим взглядом фонарей.

На другой день я как обычно отправился на пляж, но ее там не нашел. Не появилась она у нас и вечером. Следующий день оказался пасмурным, и я, не зная, куда себя девать, в самом гнусном настроении слонялся по квартире, выглядывал с балкона во двор, спускался вниз и обшаривал глазами укромные места. Наутро я вызвал на лестничную площадку ее подругу и спросил, знает ли она номер Натальиной квартиры. Она мерзко улыбнулась и назвала номер. Я повернулся, чтобы уйти, и она кинула мне в спину:

"Только имей в виду – у нее взрослый парень есть!"

"Какой еще парень?" – развернуло меня к ней.

"Ну, я не знаю, там какая-то сложная история"

Я отмахнулся и, не дав волнению уняться, устремился к дому Натальи. Поднявшись на последний этаж, я позвонил в дверь. Мне открыла неопрятная хмурая тетка, и я спросил, дома ли Наташа. Прищуриив опухшие глаза, она пробурила меня ими насквозь, затем, ни слова не говоря, прикрыла дверь и ушла. Через минуту на пороге возникла Наталья – непривычно домашняя и строгая. Велев ждать ее во дворе, она тут же захлопнула дверь.

Я спустился во двор. Минут через пятнадцать появилась она – в цветастом, соблазнительном, пропитанном солнцем платье – и направилась ко мне. Поравнявшись и не говоря ни слова, она продолжила путь, предлагая мне таким молчаливым способом последовать за ней. Заведя меня под березы, остановилась и сказала скучным голосом:

"Не надо было ко мне приходить. Все равно у нас с тобой ничего не получится"

"Почему?" – испугался я.

Наталья отвела глаза, закинула руки за спину и принялась утаптывать землю носком туфли.

"Подруга сказала, что у тебя есть взрослый парень. Поэтому?"

Наталья резко повернула ко мне лицо, прищурилась и процедила:

"Дура, ну, дура!"

"Так что – поэтому?" – наседал я.

"Что вы все ко мне пристали?! Нет у меня никакого парня!" – выкрикнула она и вдруг заплакала.

И тут я взял ее за безутешные плечи (первые женские плечи в моих руках!), притянул к себе (первая плачущая женщина у меня на груди!), неловко обнял (первые объятия в моей жизни!) и впервые в жизни вдохнул запах девичьих волос и вскормившей их кожи. Здесь следует сказать, что по неведомой мне, но явно генетической, идущей от тотемных предков линии (несомненно, волчьей) у меня, сколько себя помню, тончайший, прямо-таки звериный нюх. К тому же не исключено, что в одной из прошлых жизней я был форточкой в дортуаре воспитанниц какого-нибудь пансиона святого Патрика, о чем мне запах Натали и напомнил. От сладкой душевной истомы зануло сердце.

"Знаешь что, пойдём ко мне! – воодушевился я. – У меня отдельная комната – посидим, поговорим, музыку послушаем. Потом, если хочешь, в Москву прокатимся! Ну, пойдём?"

Она взглянула на меня мокрыми глазами, беспомощно улыбнулась, филейной частью большого пальца правой руки вытерла слезы и пробормотала:

"Пойдем..."

Оказывается, быть защитником женщины в сто раз приятнее, чем лезть ей под юбку!

Не стану описывать радужные оттенки и расторопную прыть моего юного чувства и превращение гадливой гусеницы похоти в яркую бабочку любви. Скажу только, что за скоротеч-

ным объяснением последовали резвые, семимильные шаги сближения. Отныне мы все дни проводили вместе. Днем, если позволяла погода, отправлялись на пляж, вечером она приходила ко мне во двор, и мы шли дышать стухившимся ароматом глянцевой листвы, либо погружались в душную, соблазнительную темноту кинотеатра. На первых порах мои друзья пытались меня остеречь. Говорили о ее корнях – мол, мать пьет, а отец бьет ее, и что сама она какая-то нервная и дерганая. Дальше следовали несвежие инсинуации о ее скороспелости. Якобы числилась за ней некая темная история, подробностей которой никто не знал, но выводы делались самые смелые. Все это подкреплялось печным завыванием слухов и разбойничьим посвистом сплетен. Да пошли вы все сами знаете куда!..

Да, она бывала грубой. С подругами не церемонилась, и на волне плохого настроения (а с ней такое случалось) могла поднять их на смех. Однажды я, отступив от дверей квартиры, ждал ее на лестнице. Открылась дверь, она ступила через порог и вдруг, обернувшись, пронзительно и раздраженно бросила в глубину квартиры:

"Я же сказала – скоро приду!"

"Кто это?" – спросил я, когда мы сошлись.

"Мать!" – зло откликнулась она.

Со мной она всегда была кроткой и ласковой, к себе домой никогда не приглашала и прощалась в одном и том же месте под березами. У нее не было телефона, и мы вечером договаривались, где и когда встретимся на следующий день. Нам нужно было лишь соединиться, и после этого мы не расставались. Она затмила Нину и готовилась затмить белый свет. Меня не смутила даже новость о том, что она уходит из школы и поступает в техникум, чтобы учиться на бухгалтера.

Так прошло лето, и наступила осень.

3

И вот в подол травы зеленой плод скороспелый полетел!

Она часто бывала у нас дома. Все мои паскудные мысли на ее счет испарились, и когда мы закрывались в моей комнате и устраивались на диване, я не давал ей ни малейшего повода к смущению. Нам всегда хватало тем для общения, и томительные паузы, возникнув, тут же свергались очередным приступом моего красноречия. Моя деликатность подкреплялась ее сдержанностью. Смеясь, она не хватала меня за руку, не склонялась ко мне порывистой головой, не бросала на меня томные взгляды и, сидя рядом, не искушала расчетливыми прикосновениями. Неловко качнувшись, искала опору на стороне, а не хваталась за меня. Словом, не пользовалась теми проверенными ужимками, что есть в арсенале каждой женщины, и тот единственный раз, когда я прижал ее к груди, так и остался во мне романтичным, негаснущим воспоминанием.

Возможно, таково одно из многочисленных свойств любви, но я тонко чувствовал ее настроение. А менялось оно у нее довольно часто и без видимых причин. Однажды в конце ноября я пришел за ней и, как обычно, ждал ее на лестничной площадке между этажами, когда до меня вдруг донеслись глухие, косноязычные раскаты крепнущей ссоры. Внезапно дверь ее квартиры с треском распахнулась, на площадку вылетела Натали, а вслед ей звенящий визг:

"Ну, погоди! Лешка вернется, все ему расскажу!"

"Дура! – сжав побелевшие кулачки и трясая скрюченными руками, забила в истерике Натали. – Пьяная дура, дура, дура, дура, дура, чтоб ты сдохла!.."

И скатилась по лестнице прямо в мои объятия. Несколько минут ее сотрясали рыдания, и когда от них остались лишь детские всхлипывания, я обнял ее за плечи и повел на улицу. Пока мы шли ко мне, она не обронила ни слова и потом сидела на диване, сложив на коленях руки и смахивая слезы. Наконец затвердевшим голосом сказала:

"Ладно, все нормально... – и далее: – Сыграй мой любимый вальс, пожалуйста..."

Я заиграл вальс №7 Шопена. Она подошла, встала у меня за спиной и положила руки мне на плечи. Я закончил играть и вдруг почувствовал, как теплое облако ее дыхания опустилось на мой затылок. Я сидел, не смея пошевелиться. Когда мягкий напор ее губ иссяк, я повернулся к ней, и она, надвинувшись, протяжно поцеловала меня набухшим ртом. В ту пору мои вкусовые рецепторы еще не были оскорблены крепкими напитками и обуглены грешной страстью, и я задохнулся от миндального вкуса ее губ. Потом мы сидели на диване, и она прятала голову у меня на груди, а я целовал ее затылок, с наслаждением вдыхая весенний запах ее волос.

Моя жизнь в одночасье обрела взрослый смысл. В девятом классе я добавил к баскетболу гимнастику, и за год заметно подрос и раздался в плечах. С музыкальной школой я расстался, и у меня прибавилось времени. С моей легкой руки Натали почти все вечера стала проводить у меня. Приходила вечером, словно после работы, и если я задерживался, помогала матери и делала в моей комнате уроки. Я прибежал, ужинал, садился с ней за один стол, и мы молча и сосредоточенно спешили покончить с уроками, чтобы перебраться на диван и предаться новому, упоительному занятию. Впрочем, воровать поцелуи я начинал уже за столом. Скопив глаза, я любовался ее склоненным над тетрадью лицом с нахмуренной, непокорной переносицей, ее угловато вздернутыми, напряженными плечиками, заметной грудью, острыми локотками и порхающей от книжки к тетрадке и обратно рукой, пока не сосредотачивался на ее пухлых, шевелящихся губах, которыми она шептала ученые заклинания. Внезапно она вскидывала голову и ловила мой нерасторопный взгляд. Лицо ее озарялось понимающей улыбкой, и, оглянувшись на дверь, она закрывала глаза и тянулась ко мне губами.

Я не понимаю тех богов, что подражая людям, предаются обжорству и оргиям. Пища богов – это поцелуи, а мораль – целомудренно сжатые колени. Я не представляю Натали в расстегнутом халате, с раздвинутыми ногами, поглупевшим лицом и мокрыми трусами. Это не Натали, это Гошина Валька. Натали – это пылающие щеки и одурманенный нежностью взгляд. Это сомкнутые ресницы и тихий вздох у меня на плече. Натали – это своенравная досада и капризная мольба: не хочу уходить! Натали – это я, только в тысячу раз лучше...

Если три последующих месяца наших отношений представить в виде райского дерева, усеянного бесчисленными соцветиями поцелуев, то дерево это определенно изнывало в ожидании опыления. Однажды в начале апреля она спросила:

"Ты сможешь быть завтра дома часов в двенадцать?"

Я подумал и ответил, что смогу.

Назавтра она появилась у нас пятнадцать минут первого и, поцеловав, спросила, точно ли мои родители не придут с работы раньше времени. Я подтвердил, и тогда она взяла меня за руку и с порывистой решимостью подвела к моей комнате.

"Побудь здесь пять минут, а потом заходи..." – сказала она и скрылась за дверью, унеся с собой таинственный блеск глаз. Я машинально взглянул на часы и озадаченно закружил по гостиной. Выждав семь минут, я толкнул дверь и ступил за порог.

Первое, что я увидел, была ее брошенная на диван одежда. Картина, прямо сказать, фантастическая, и все же летучее собрание кофты, блузки, юбки и чулок можно было бы объяснить необъяснимой прихотью их хозяйки, если бы не председательство лифчика и скомканых трусов. Именно они оказались той подсказкой, что озарила мое немое изумление сумасшедшей догадкой, подтверждение которой лежало в это время в моей кровати, натянув на себя одеяло и глядя на меня потемневшими глазами. Отказываясь верить в происходящее, я обнажился до трусов и, не чуя под собой ног, подошел к кровати. Устремив на меня шальный взгляд, Натали откинула одеяло. Оглушенный стыдом, я сел на край кровати, стянул трусы и залез под одеяло. Она тут же обняла меня, прижалась, и через пару минут случилось то, что и должно было случиться. В конце мне стало душно и стыдно. Я лежал, не зная, что делать дальше. Обхватив меня одной рукой за шею, Натали другой рукой оглаживала мою спину и шептала: "Ты мой любимый, мой единственный, мой ненаглядный мальчик..." Я же, остывая в объятиях моей

возлюбленной, испытывал не пустоту, не животное удовлетворение, не сытость обладания и уж тем более не отвращение к поруганной самке, которое возникает у некоторых мужчин, а все то же любовное чувство, сгустившееся теперь до слезливого умиления. Какова, однако, сила любовной иллюзии, если мы, обнаружив у бездны дно, все равно полагаем ее бездонной!

4

Безумный бог сожрал светило и проглотил луну с зарей...

От робкого влечения, через неодолимое притяжение и светлое помешательство до физического слияния с другим началом – таким открылся мне любовный морок. В те дни главным моим занятием, всепоглощающим и неистовым, стало ожидание очередной нашей встречи. Натали приходила возбужденная, сияющая, грешная. Руки сами тянулись к рукам, губы к губам и, пожалуй, самой трудной и утомительной нашей задачей была необходимость прикидываться невинными. Узнай о нас взрослый мир, и остракизму подвергся бы не я – Натали. С несмываемой репутацией малолетней шлюхи она была бы зачислена в разряд отверженных и отдана на поругание общественному мнению.

Несмотря на свой нежный возраст, Натали знала все, что положено знать женщине. Помню, обнаружив на себе ее кровь, я был смущен и слегка напуган. Натали, однако, успокоила меня, сказав, что у девушек в первый раз так и должно быть. Объяснила, откуда берутся дети и научила, как этого избегать. Я свято следовал ее инструкциям, что, конечно же, отражалось на качестве моей коды, зато позволяло ей чувствовать себя спокойно.

Я полюбил смотреть, как она одевается.

"Не смотри!" – говорила она, выбираясь, обнаженная, из постели, за пределами которой обитал стыд. Я закрывал глаза и, выждав несколько секунд, оборачивался в ее сторону. "Бессовестный!" – улыбалась она, не делая попыток прикрыться. Пожирая глазами ее точеную фигурку, я смотрел, как продев в распяленные отверстия ноги, она натягивала трусики, как ломая руки, застегивала лифчик и превращалась в пляжную девушку. Как по воздетым рукам и телу скользила, расправляя складки, комбинация, и полуголые ноги и голые руки торопились доиграть свои партии. Как прятались под блузку флейты рук, а под юбку – виолончель бедер. Как зачехлялись в чулки фаготы ног, и как сверкнув из-под закинутой вверх юбки, покидало сцену ее перетянутое резинкой бледно-розовое бедро. Она шла в гостиную, а я с сожалением покидал кровать и мечтал о том времени, когда мы сможем проводить в ней все дни и ночи напролет.

Мои выпускные экзамены ничуть нам не мешали. Мы освоили мою дачу и узнали о себе много нового и приятного. Например, я узнал, что одеяло лишь мешает и что целовать можно не только в губы. Относя страдальческие гримаски и жалобные стоны моей Мальвины на счет вопиющей несоразмерности ее кукольных, крепко сжатых створок с моим карабасовым калибром, я поначалу смущался и просил у нее прощения, на что она отвечала, что ее гримаски и стоны есть выражение особого женского удовольствия. Кроме всего прочего я узнал про женские дни и про томительное воздержание. И еще мне открылась парфюмерия женского тела. Я рыскал по нему, приветствуя уже знакомые оттенки и открывая новые. Подбираясь к ее чернокудрому гнезду, я ощущал его нутряной душок и наливался пунцовым стыдом. Сердце бунтовало, мой атлет каменел.

Так продолжалось до конца июня, и вот однажды Натали не пришла в назначенный час. Такое случалось и раньше, но, как правило, вечером недоразумение рассеивалось. Однако в этот раз она не пришла и вечером. На следующий день около одиннадцати утра я отправился к ней домой. Разгорался чудный летний день. Воздух дышал покоем и миролюбием. Ах, сейчас бы на дачу! Искупаться и в кровать. У нас с каждым разом получается все лучше. Люблю, когда она после этого дремлет, уткнувшись мне в плечо...

Добравшись до ее квартиры, я позвонил. Мне открыл низкорослый, широкоплечий, коротко стриженный парень с раздавленным, как у боксера носом и глубоко запавшими глазками под выгоревшими бровями. Я спросил дома ли Наташа. Он прилип ко мне злым, тревожным взглядом и вместо ответа спросил, кто я такой. Я ответил – знакомый. Парень несколько секунд рассматривал меня, а затем сказал:

"А ну, идем!"

"Куда?"

"Идем, сказал!"

Мы молча спустились во двор и дошли до знакомых мне берез. Парень повернулся ко мне и криво ухмыльнулся:

"Так это ты, что ли, ее жених..."

"А тебе какое дело?" – отступил я на шаг.

"Слушай сюда, щенок! – ощерил он желтоватые клыки. – Ее жених – я! И если еще раз увижу тебя здесь – убью!"

"Да ну! – рассмеялся я ему в лицо. – Ну давай, убивай!"

Парень сузил глаза и как бы нехотя, с ленцой махнул левой рукой и угодил мне в печень. Я сломался и рухнул березам под ноги. Парень развернулся и зашагал к дому. Я пришел в себя, отдышался, встал и побрел туда же. Поднялся на этаж, позвонил и отступил от двери. На пороге возник тот же парень.

"Ты чо, не понял?" – прорычал он.

Прикрыв кулаками лицо, я бросился на него. Он обхватил меня, и мы влетели в квартиру. Под моим напором он грохнулся на спину, и его затылок с коротким, тупым звуком впечатался в пол. Я оседлал его и вцепился ему в горло.

"Убью, ссука, убью!" – хрипел я, чувствуя, как напряглась под моими пальцами вражеская шея.

Извиваясь, парень тянул пальцы к моему горлу. Мои руки оказались длиннее, и тогда он принялся лупить меня по почкам, по печени, по прессу и в солнечное сплетение. Но пробить мышцы гимнаста не под силу даже этому хрипуну. Ненависть пропитала и превратила их в броню, которую сейчас не пробила бы даже пуля. Он все же разбил мне губы, и тогда я, нависнув над ним и сжав его горло клешней одной руки, кулаком другой стал молотил ненавистное лицо.

"На, ссука, на, тварь, получи!.."

Прихожая наполнилась бабьим визгом. Он бился в уши звенящей волной, и на гребне ее пенилось:

"Ой, что делается! Он же убьет его, убьет! Ой, не могу, ой, помогите!"

"Юрочка, миленький, отпусти его, отпусти!" – неизвестно откуда кричала Натали.

Растерянный мужской голос вставлял:

"Хордш, пацаны, хордш, кому сказал!"

Парень подо мной хрипел, дергался и с резиновым визгом возил подметками по полу. Я же ослеп от ненависти. Я хотел оторвать эту проклятую багровую башку и забросить ее в корзину унитаза! Я жаждал разорвать это тело на куски и спустить туда же!! Хрипящий враг обеими руками вцепился в мое запястье. Меня пытались оттащить, и два голоса – мужской и женский, визжали мне в самые уши: "Отпусти его, отпусти!.."

"Юрочка, родненький, миленький, отпусти его, прошу тебя, отпусти-и-и-и!" – верещала Натали.

Визг проник, наконец, в мою голову. Я ослабил хватку, встал на ноги и разогнул скрюченное тело. Между мной и парнем тут же стеной встали две фигуры, а к моей груди прилипла Натали. На полу, держась руками за горло, корчился с кашлем раздавленный мною червяк.

"Пойдем, пойдем скорей!" – повиснув на мне, кричала в мое перекошенное лицо Натали.

"Все нормально, – приходя в себя, прохрипел я, – все нормально, пойдем..."

Обняв добычу за плечи и облизывая разбитые губы, я спустился с ней во двор. Было тепло и солнечно. Отходя от наркоза ненависти, надсадно ныли костяшки рук. Я заткнул за пояс разорванную рубаху и сказал:

"Пойдем ко мне..."

Когда пришли, Натали развела марганцовку и принялась промывать мои раны. Когда она приложила ватку к моему лицу, ее страдающие глаза оказались так близко, что я не выдержал и, отведя ее руку, поцеловал мои любимые омуты. Она молчала, и только подрагивали под моими губами ее веки.

"Рассказывай" – оторвавшись, велел я.

Глаза ее наполнились слезами, и она тихо пробормотала:

"Мне стыдно..."

"Рассказывай!" – прикрикнул я.

Она с испугом посмотрела на меня и отвела глаза.

"Это Лешка... Из армии вернулся... Теперь хочет на мне жениться..."

"Да мало ли чего он хочет..." – начал я, но она прикрыла мой рот ладонью и продолжила:

"В общем, наши матери – старые подруги, и Лешку я знаю с детства. Он всегда заступался за меня и все такое... А перед армией стал ко мне... приставать... Один раз заманил к себе... ну и... силой заставил..." – выдавила она и примолкла.

До меня не сразу дошел смысл ее слов. Заставил силой четырнадцатилетнюю девчонку что, целоваться? Она тем временем продолжала:

"Я тогда никому ничего не сказала, потому что и сама не очень сопротивлялась... А потом приходила к нему еще несколько раз, и мы с ним этим занимались..."

И тут я все понял. Меня обдало волной жаркого, срамного стыда. День вдруг разом померк, а к горлу подступила равнодушная тошнота.

"Перед армией сказал, чтобы я его ждала и что когда вернется, то женится на мне... Ну, в общем, вот так..." – проникали в меня словно сквозь вату ее слова.

Оглушенный громом признания, я сидел с окаменевшим лицом, отгоняя воображение от смутной тени мужчины, который занимался с ней тем же, чем и я.

"Я так и знала, что все так кончится..." – всхлипнула она, и голова ее поникла.

Мне пора было что-то сказать, но тупое, безжизненное разочарование опечатаło мой рот. Натали сидела рядом, отвернувшись и тихо всхлипывая. Молчание затянулось, и казалось, еще чуть-чуть, и оно станет красноречивее слов. И я сказал:

"Но у тебя же первый раз была кровь..."

"Была... – эхом откликнулась Натали и громко всхлипнула. И вдруг упала рядом со мной на колени, обхватила меня, неудобно прижалась и заплакала в голос: – Юрочка, родненький прости меня, пожалуйста, прости, я тебя обманула, это были месячные! Я не хотела, чтобы ты знал! Я же никогда не любила этого проклятого Лешку, я только тебя люблю, тебя одного!.." – и дальше сплошной бабий вой – тоненький и безнадежный.

Я поднял ее и повел, безутешную, в мою комнату. Там впервые раздел ее, уложил, лег рядом и прижал к себе. Ощувив на груди горячую влагу, сказал:

"Не плачь. Ты сегодня же переедешь к нам"

Она затрясла головой:

"Нельзя!"

"Почему? Почему нельзя?"

"Нельзя..." – тихо и печально ответила она.

Я добрался до ее скорбного лица и, глядя в него, воскликнул:

"Почему – нельзя? Ведь я тебя тоже люблю!"

Так я впервые огласил великое чувство, обозначив им то огромное и нежное, что с трудом вмещалось во мне. Покрыв горячечными поцелуями любимое мокрое лицо, я проник в Натали, и она, глядя на меня с лихорадочным блеском, велела:

"Кончи в меня!"

Слезы ее были пряны на вкус, волосы пахли полыньей и мятой. Я отпустил вожжи и поскакал прямо в пропасть. Потом она гладила меня, обмякшего, и бормотала:

"Ты меня правда любишь?"

"Очень!" – отвечал я.

Уходя, она сказала:

"Не приходи пока, потерпи несколько дней, я сама к тебе приду. Насовсем..."

Я ждал целую вечность. Я ждал три дня. Я жил, нетерпеливыми пинками подгоняя нерадивое время. На четвертый день не выдержал и с двумя крепкими друзьями отправился к Натали. Поднявшись к ней на этаж, я позвонил. Дверь открыла Натали, и по ее безжизненному лицу и пустым глазам я понял, что опоздал. Мы стояли и смотрели друг на друга: я – с белым от плохого предчувствия лицом, она – со скорбной печалью.

"Что?" – выдавил я.

"Я к тебе больше не приду..." – еле слышно выговорила она.

"Почему?" – шевельнул я мертвыми губами.

"Потому что если я от него уйду, он тебя убьет..."

"Чушь!" – воскликнул я.

"Нет, не чушь... Он бешеный, и у него есть нож..."

"Так переезжай ко мне!"

"Поздно..." – смотрела она на меня с безнадежной мукой.

"Почему?" – не унимался я.

"Потому что... – ее лицо перекопилось, глаза наполнились слезами. – Потому что я с ним уже живу... Как жена..." – пробормотала она и опустила глаза.

Язык у меня онемел, невероятная тяжесть придавила плечи, тело опустело. Я силился что-то сказать и вдруг круто развернулся, миновал растерянных друзей и кубарем скатился по лестнице. Ноги сами понесли меня прочь от неслыханного предательства и от самодой моей жизни. Слепший и оглохший, я не знал, как дальше жить, как смотреть на этот черный мир, как дышать этим безжизненным воздухом. Опустевшее тело наливалось кипящей жидкостью. Она заполнила грудь, подступила, клопочущая, к горлу, достигла глаз, перелилась через веки и покатила по щекам.

Помните, в начале этой истории я предупреждал, что когда скажу "Три!", вы заплачете? И так, я говорю: "Три!"

Ну, плачьте же! Ну, что же вы не плачете?!

5

Смещением дней смущает сердце звезды потухшей параллакс...

Избавьтесь от любви, и мир снова станет недобрым. Так после анестезии к нам возвращается боль. Создать, чтобы разрушить – вот протозакон Вселенной. Именно ему мир обязан своим обновлением. Однако то, что для неживой материи – благо, для существа разумного есть зло. Сотворить любовь, а затем разрушить ее – разве это разумно, разве это не зло? Скажем прямо: зло есть нормативное состояние мира, в то время как добро – навязанный ему паллиатив. С момента своего создания мир подчиняется злу. Оно во всем: и в звездах, и в черных дырах, и в природе, и в человеке. Ненависть к постоянству питает материю, антиматерию и человеческий род. Тысячи лет назад сентиментальный Бог, не в силах видеть человеческие мучения, дал человеку любовь, чтобы тот с ее помощью мог хоть как-то противостоять злу. И в

этом смысле я, Юрий Алексеевич Васильев, неверующий финансист и насмешливый материалист, принимаю религиозные доктрины и нахожу их весьма дельными и полезными. Только вот что прикажете делать, когда любовь сама становится злом?

Не стану изводить вас печальными подробностями моих постнатальных страданий. Во-первых, их отчаянная безысходность не превосходила общечеловеческую, а во-вторых, как уже было сказано, они лишь материал, из которого я сегодня извлекаю крупницы любовного вещества, чтобы построить из них мою периодическую систему любовных элементов. Вот некоторые из вновь извлеченных.

Избавление от Натали было бурным и мучительным – совсем не таким, как от Нины. Разница между ними такая же, как между абортom и выкидышем – то есть, вмешательством и помешательством. Отличаются ли любовные переживания разнообразием и можно ли их каким-то образом смягчить надлежало выяснить в дальнейшем.

Два раза из двух моя журавлиная партия была прервана враждебным вмешательством внешних сил. Два раза мои пальцы в самый разгар исполнения бесцеремоннейшим образом прищемили крышкой рояля. Случайность это или нет, покажет будущее.

Пожалуй, главное открытие: я впервые пал жертвой женской измены. С годами мне открылось следующее: коварная или самоотверженная, она всегда внезапна и разрушительна. Тебя попросту выбрасывают за борт, и корабль плывет дальше, не обращая внимания на твои истошные крики. Твоя задача – доплыть до первого попавшегося острова и дожидаться следующего корабля. Стоит ли говорить, что на новом корабле у тебя через некоторое время возникает желание поднять мятеж и завладеть им.

Далее. Даже того короткого времени, что было нам с Натали отпущено, достаточно, чтобы утверждать: постель истинную любовь только укрепляет.

Кроме того я обнаружил у себя стойкий семейный инстинкт, и несмотря на фиаско, осознал, что когда-нибудь им воспользуюсь. О том, что он, как и все наши инстинкты, уязвим, я узнал позже.

А вот и верное средство от любви: дура – самый убийственный диагноз, который только можно поставить любимой женщине.

О дальнейшей судьбе Натали мне известно немного. Слышал, что в конце лета она сделала аборт (интересно, от кого – от меня или от него?), а спустя три года удачно вышла замуж и переехала в Москву, где и затерялась. Знаю также, что если бы, не дай бог, женился на ней, то был бы счастлив до тех пор, пока мои привычки не стали ее привычками – то есть, приблизительно года три-четыре. Что было бы потом, лучше не думать. Переводя ее значение в музыкальную плоскость, выражусь так: имея все шансы разрешиться в тонику, она так и осталась доминантой – зудящей и нерасторопной.

И все же, черт возьми, что нам делать, когда любовь сама становится злом?

Люси

1

Красивая одноклассница, чье счастливое сочетание базовых женских качеств делало ее уверенной и независимой; мина замедленного действия, о которой я сегодня вспоминаю с тем же скверным и тягостным чувством, с каким контуженый сапер восстанавливает свой неверный шаг; практичное существо с ангельской оболочкой и деловой изнанкой, сладкоголосая сирена с глазами лагунами-лгунями и пульсирующей черной приманкой на дне – такова Люси. Ее власть надо мной тем более необъяснима, если иметь в виду, что наши отношения, возникнув из ничего, в ничто, в конце концов, и обратились.

Она появилась у нас в девятом классе, и я долго ее не замечал. Чуждая эксцентричным выходкам и повизгивающей экзальтации простоватых подруг, она вела себя разумно и сдержанно, смотрела на мир практично и с дальним прицелом. Была из тех, кто сначала думает о высшем образовании, а затем обо всем остальном. Словом, была мне неинтересна.

Расставание с Натали превратило меня в хмурого нигилиста, сильно осложнив мое общение с людьми простодушными и добросердечными. Отчасти эта отстраненность от радостей жизни и помогла мне попасть в институт, в то время как Люси не поступила на юрфак МГУ. Я был мрачен и замкнут и не принимал участия в возбужденных, почти взрослых посиделках моих одноклассников, которые они, связанные пока еще крепкими узами школьного братства (нечто среднее между дружбой и родством), завели привычку устраивать по выходным, а то и на неделе.

В октябре я обнаружил у себя осторожные признаки выздоровления. Поскольку институтские знакомства только-только завязывались, то под приветственные возгласы примкнул к посиделкам и я. Довольствовался рюмкой-другой портвейна, после чего предавался улыбочивому созерцанию честной компании. Люси не пропускала ни одного собрания и была там на главных ролях. Доморощенный интеллектual и анархист, каким был я, и предводительница девчонок, какой была красавица Люси, не могли не зацепиться. У нее был прямой строгий нос с розоватыми тонкими ноздрями, которые подрагивали, когда она сердилась, а ее правильные, чертовски привлекательные черты дышали непререкаемой правотой и снисходительным сочувствием к недалеким умам. На вечеринках я подсаживался к ней, и пока мы вели холодные и чистые, как снег разговоры, выискивал в густом застольном духе слабосильные молекулы ее натурального запаха. К Новому году мы с ней определенно подружились и пребывали в состоянии бесполой и приятной зависимости. Нет, я не собирался влюбляться, я только хотел внушить Люси доверие, достаточное для того, чтобы залезть ей под юбку – то есть, рассчитывал склонить к греху отличницу, образцовую комсомолку и нецелованную девственницу.

Новый год мы с ней встречали в компании одноклассников. Находясь в приподнятом настроении, я выпил, словно горькую воду три больших рюмки водки и сидел, глупо улыбаясь, не в силах остановить зыбкую карусель расплывшихся лиц. Она под села ко мне, подложила кусок мяса и велела съесть. Я с коровьей задумчивостью прожевал его, и она подложила еще один. Я, все так же глупо улыбаясь, съел второй кусок, после чего она вывела меня в прихожую, обмотала мою шею шарфом, помогла попасть в рукава пальто, нахлобучила на меня шапку и увела, нетвердого, на улицу. Глуповатая, признательная улыбка не сходила с моего лица. Впервые после Натали обо мне молча и укоризненно заботилась молодая непорочная девушка. Думаю, от этой ее заботы и зародился во мне эмбрион новой любви.

Когда щедро иллюминированная уличная карусель замерла, мы вернулись к дому, остановились у подъезда и примолкли. Мягкая, немигающая тишина окутала нас. Под ногами поскрипывал снег, неслышно вальсировали снежинки. Люси подняла ко мне лицо, и я неожиданно для себя вдруг склонился и коснулся ее губ, готовый к тому, что она их тут же отнимет. Но она не стала уклоняться, и я, ощутив губами теплую, нежную опору, припал к ней.

В ту ночь Люси была хороша. Танцуя с ней, я сквозь тонкое, пропитанное живым теплом платье поговорил с упругим лифчиком, с подтянутой высокой талией, с узкой прямой спиной и даже, как мне показалось, перекинулся парой невнятных слов с резинкой трусиков. Мы топтались в стороне от тесных пар, и Люси вдруг обняла меня, деревянного, за шею. Я склонился к ней, ее щека коснулась моей щеки, и я ощутил заоблачно-небесное благоухание ангельской карамели.

Танец закончился, я проводил Люси к девчонкам, а сам подсел к Гоше. Бориска Фомин тем временем запустил магнитофон, и несравненный Джо Дассэн забормотал про красивую заграничную любовь (о чем же еще он мог бормотать?). Сам не знаю почему, я сказал Гоше:

"Если Люси меня пригласит – значит, судьба"

При первых звуках музыки Люси повернулась ко мне и через всю комнату вопросительно на меня взглянула. Со мной что-то случилось: оцепенев, я смотрел на нее, не имея сил подняться. И пока я смотрел, к ней подкатил галантный Бориска, и Люси, помедлив, пошла с ним. Гоша отправился к Вальке, а я остался сидеть, одинокий и покинутый. Выходит, не судьба? Выходит, так. Да только кто же в семнадцать лет верит в судьбу? В этом возрасте пока еще верят в светлое будущее! Да если даже не судьба: отношения наши зашли не так уж далеко, чтобы горевать над их будущей участью! И я, усмешкой сглаживая смущение, налил полную рюмку коньяка и выпил его, как Гоша учил – лихим гусарским махом. После чего обернулся в сторону танцующих и поймал укоризненный взгляд Люси: из Борискиных объятий она неодобрительно покачала головой.

Под утро я проводил ее домой, и на прощанье мы долго и чинно целовались. В меня проник вкус ее губ. Мне было тревожно и радостно – как будто я одновременно нарушал строгий запрет и получал отпущение грехов. И все же, зачем я в ту ночь побеспокоил судьбу? Зачем поставил на кон гармонию моей жизни? Кстати, та песня Джо Дассэна называлась "Индийское лето".

2

А теперь хочу поделиться одним важным открытием, к которому меня привела порочная привычка к наблюдениям и размышлениям. Хочу, ни больше, ни меньше, внести свой вклад в теорию любви. При этом я имею в виду не бытовую ее версию с двумя постулатами "все бабы – дуры" и "все мужики – сволочи", а ту, где постулат всего один, зато великий: "Любовь, как и поэзия есть сотворение мира".

Всякая интимная любовная практика питает публичную любовную теорию, и среди ее методов язык (*lingua*) – самый распространенный, а любовный роман – один из самых ее спорных и неточных инструментов. И не потому что прикоснувшиеся к реальности слова разрушают ее, а потому что не существует любви, как таковой, но существуют ее бесчисленные воплощения, и любовный роман – их непозволительно вольный пересказ. Упаси вас бог изучать любовь по любовным романам! Так вот: наперекор существующему мнению я утверждаю, что свергнутая любовь не разлагается на составные части и не выводится из организма, а остается в нашем сердце и нашей памяти навсегда. Таким образом, перед нами сводный хор пленниц, и мы, указав дирижерской палочкой на любую из них, можем заставить ее петь громче других. Доказательством тому служат мои текущие заметки. Но это, так сказать, предпосылки к открытию. Само же открытие касается не голосов пленниц, а их взаимодействия и заключается вот в чем.

У каждой любви свой голос, но мелодия у всех одна. И когда к голосу первой любви через какое-то время присоединяется голос второй любви, а за ней третьей, и так далее, то под сводами нашего сердечного храма звучит, по сути и по содержанию, религиозный любовный гимн в форме канона. Не многоголосый хорал, а именно канон, слушать и понимать который дано далеко не всем. Трудность в том, что с возрастом одни голоса слабеют, другие начинают фальшивить, отчего мелодические кружева путаются, канва контрапункта разъезжается, полифония превращается в какофонию, так что в ней уже сам черт не разберет! Но если у зонгеркоманды есть проблемы, то это забота капельмейстера, не правда ли? Теперь вы, надеюсь, понимаете, зачем я затеял ревизию голосов. Впрочем, пока мелодию подхватил всего лишь третий голос, и мой канон звучит вполне стройно.

...Разбежавшись, я подпрыгнул, помятые крылья подхватили меня и понесли. Сначала кружил на низкой высоте, высматривая, не машут ли мне из тех мест, которые собирался покинуть. Люси тоже не спешила набирать высоту и летела рядом. Все вечера и выходные были теперь в нашем распоряжении. Лыжные вылазки, каток, кино, неспешные прогулки и нета-

ющие снежинки на ее длинных ресницах. Однообразные целомудренные поцелуи, которые Люси, не понимая в них толк, считала, видимо, единственно возможными. Я вел себя с ней внимательно и сдержанно. Она в свою очередь была спокойна, любознательна и рассудительна. Серьезная девушка. Серьезная и красивая. Таким место в президиуме. Раньше она вела классные собрания и солировала в школьном хоре, теперь обсуждала с моей матерью экономику домашнего хозяйства, а с моим отцом – новости международной политики. Обращаясь ко мне, она смотрела на меня безмятежным взглядом, и на дне ее светло-серых лагун пульсировала черная приманка спелой девственности.

Как-то в середине апреля у нее на работе выпал свободный день, и я, не поехав в институт, привел ее к себе. Была середина дня – как раз та его поясничная часть, за пазухой у которой мы так часто и удачно прятались с Натали. Мы сели на диван, я обнял ее и принялся обливать, посасывать и покусывать, словно сладкую малиновую конфету ее губы – до тех пор, пока не почувствовал, что ее руки приготовились оттолкнуть меня. И тогда я тихо отстранился. Ее ресницы дрогнули и раскрылись, словно мохнатые лепестки зрячего цветка. Ровные, сухие щеки разгорелись, серое дно лагун заволокло изумлением, влажные губы набухли и покраснели. И то сказать: такого массажа я им еще не делал!

Замечу, что у нее был роскошный рот и выдающиеся губы, которым она не знала цены. Великий адалюбец сказал бы, что рот ее похож на рану. Добавлю, что рана ее была красивой, глубокой и незаживающей. Все тот же непревзойденный сластолюбец сравнил бы ее верхнюю губу с летящей птицей. Тогда уж с райской птицей, почтительно добавлю я. По мне ее губы походили на застывшие волны: круто взметнулась, обнажая жемчужное дно, верхняя, а нижняя, такая же тугая и полноводная, прорвала жемчужную запруду и готовилась затопить мое сердце. Но не дай бог их обидеть: они, словно розовый моллюск, тут же смыкались и передавали слово строгим глазам.

Перед тем как уйти, она посмотрела на себя в зеркало и укоризненно сказала:

"Посмотри, что ты сделал с моими губами... Что я теперь дома скажу..."

Вышло так неловко и трогательно, что меня прошибло давно забытое умиление, отчего лифт моего сердца взлетел еще на один этаж. В припадке нежности я сгреб ее в охапку вместе с темно-коричневым (падчерица школьной формы) шерстяным платьем, комсомольским значком, доверчивыми глазами, набухшими до барабанной звонкости губами, потемневшими подмышками, зеркалом, квартирой, городом и весной. Жизнь моя снова выбиралась на большую дорогу.

Посеяв в Люси порочное желание, я ухаживал за ним, как за капризным экзотическим растением. Наблюдал, как распускаются его стыдливые цветы, как после очередной прививки страсти Люси в полном смятении отстраняется от меня, и черная приманка на взбаламученном сером дне ее лагун наливается дрожащим отблеском пламени. Мне казалось – еще чуть-чуть, и она сама попросит меня об ЭТОМ. Я методично и расчетливо подталкивал ее к краю, не думая о том, что будет с нами после. Перед сном ее горячая, обнаженная тень витала надо мной и, прикасаясь к моим губам и бедрам, ввергала в сладчайший, мучительный, гулкосердечный транс, избавиться от которого можно было лишь одним-единственным способом. Интересно, думал я, если девчонки испытывают то же самое (а они непременно должны испытывать что-то подобное), то как она может терпеть эту пытку, зная, что есть я?

3

Первый день мая мы провели вместе. Примкнув утром к колонне завода, где она работала в технической библиотеке, мы побывали на демонстрации. Помахивая ветками белых неживых цветов, мы шли, рука в руке, увлекаемые царившим вокруг приподнятым чувством несо-

крушимого единства. После я часто вспоминал то чудесное майское утро – последнее мирное утро накануне нашей затяжной войны.

Эй, отзовись, начищенное до блеска духовых инструментов восемнадцатилетнее солнце, льющее нежный свет на древние пейзажи Подмосковья, что древнее стен самого Кремля! Откликнись, пьянящий, прозрачный, настоящий на почках воздушный напиток! Напомни о себе, крепкое, пружинистое тело, послушное малейшим указаниям любовного азарта! И вы, неунывающие медные трубы, и ты, пузатый провокатор-барабан! И конечно, ты, нарядная, объятая священным идеологическим трепетом народная река! Отзовитесь и скажите – какое вам было до меня дело? Чего вам не хватало для прозрачного и тягучего, как мед счастья? Зачем вам потребовалось спихнуть меня на его обочину?

После демонстрации мы пришли ко мне и ждали, пока родители уедут на дачу. Закрыв за ними дверь, мы сели целоваться. Сжимая в объятиях обмякшую Люси и перекатывая во рту сладкие леденцы ее губ, я замирал и говорил себе: "Сегодня! Наконец-то, сегодня!" Когда солнце прожгло в крыше соседнего дома багровую дыру и провалилось в нее, мы отправились к Люси, где она переделалась, после чего мы двинулись на вечеринку к Гоше. Она была в широкой юбке, из которой вырастали, обтянутые мягкой белой блузкой, тонкая талия и аккуратный бюст – принадлежности в некотором смысле второстепенные, ибо, как учили старшие товарищи, главное в первый раз – это стремительно миновать стиснутые бастионы ног и атаковать заветный треугольник, после чего колени распадаются сами собой.

Весь вечер я вел себя с Люси как пошлый соблазнитель: многозначительно сжимал под столом ее руку и после ответного пожатия взглядом своим, как огнеметом опалил ее доверчивый взгляд. С нежным пылом исполнял ее редкие пожелания, а во время танцев с мягкой силой прижимал к себе – до соприкосновения бедер, до тумана в голове. Говорил, не спуская с нее глаз: тихо, многозначительно, низким, волнующим баритоном, а проходя на обратном пути мимо моего дома, пригласил ее подняться ко мне. "Поздно..." – неуверенно откликнулась она, но я пообещал, что это ненадолго.

Мы поднялись в квартиру и устроились в гостиной на диване. Опасное, вседозволяющее одиночество обступило нас. Приглашение к греху витало в глуховатой тишине так материально и ощутимо, что Люси, словно обороняясь, закинула ногу на ногу и скрестила на груди руки. Было заметно, что она, как и я напряжена и взволнована. Радиоточка на кухне исполнила гимн и объявила о наступлении нового дня. Я подвинулся к Люси, обнял одной рукой за плечи и, придвинувшись к ее профилю, коснулся губами щеки, а затем, неудобно изогнув шею, добрался до губ. Безучастные губы и щеки принадлежали недвижной статуе.

"Поцелуй меня..." – попросил я.

Люси нехотя разомкнула руки, повернулась и подставила губы. Я нежнейшими прикосновениями попытался сообщить им о моем желании – они меня не понимали. Я умолял их о пощаде – они меня не слышали. Я попытался вдохнуть в них жизнь – они не желали воскресать. Тогда я поддал им жару – они его терпеливо сносили. Раздраженный, я вдруг одним махом смел с ее колен юбку и запустил ладонь в теплую, гладкую расщелину сжатых ног. Люси дернулась, вцепилась рукой в мою кисть и принялась отдирать ее от себя, одновременно пытаясь избавиться от моих губ. Я прижал ее к спинке дивана, опечатал ей губы, а большим пальцем лихорадочно давил на лобок, как на стартер, добросовестно ожидая, когда заведется ее мотор. Люси мычала и судорожно дергала головой. Вдруг она отпустила мою руку и стала с размаху колошматить меня по плечу, по руке, по голове, по лицу. Ей удалось распечатать губы, и они взорвались возмущением:

"Пусти, дурак, пусти!"

Я не отпускал.

"Пусти, говорю!" – взвизгнуло чужое некрасивое лицо.

И я отпустил ее. Она вскочила и бросилась в прихожую, на ходу заправляя блузку. Не говоря ни слова, накинула пальто, сунула ноги в туфли и кинулась вон из квартиры. Я за ней. Так и проследовал до ее дома. Перед тем как войти в подъезд, она обернулась и с высоким презрением бросила мне в лицо:

"Значит, вот для чего я тебе была нужна!"

С точки зрения влюбленного я совершил ошибку. С точки зрения соблазнителя я совершил непростительную ошибку. На меня не желали смотреть, со мной не желали говорить, и через две недели, вконец измученный, я подкараулил Люси возле ее дома, встал у нее на пути и взмолился:

"Люда, ну не надо так! Ведь я же тебя люблю!"

На меня недоверчиво, исподлобья посмотрели и сказали:

"Подожди меня здесь"

В тот вечер мне уделили полчаса, за которые я, заикаясь и путаясь в показаниях, попытался смыть со своей репутации жирное пятно насильника и бесчувственного животного. Через полчаса я потерял бдительность и сказал, что мы уже взрослые, и многие из наших этим уже занимаются – взять хотя бы Вальку с Гошей. Полоснув меня строгим кумачовым взглядом, она отчеканила:

"Вот и пусть занимаются, а я не собираюсь!"

На том моя аудиенция закончилась.

В конце июня Люси уведомила меня, что уезжает к тетке в Ленинград, где будет поступать на юрфак. Мои растерянные вопросы остались без внятных ответов. Она поступила и, вернувшись, встретилась со мной. Настроение ее заметно улучшилось: она была настолько добра, что дала свой будущий адрес и разрешила ей написать. Больше того – разрешила ее проводить. На Ленинградском вокзале мы с ней совершили молчаливый и бессмысленный круг – задели по касательной Ярославский вокзал, обогнули станцию метро и в зале ожидания воссоединились с родителями. Возможно, она рассчитывала услышать от меня нечто важное и перспективное, что могла бы учесть и принять в расчет. Как я сейчас понимаю, что-то вроде предложения руки и сердца: мое жалкое "Я же тебя люблю!" ее уже не устраивало. Но по какой-то растерянной причине я не сделал первого и не повторил второго. На том и расстались.

4

Следующие полгода я писал ей каждые две недели. В ответ она делилась своими ленинградскими впечатлениями, дополняла их скупыми подробностями университетского быта и избегала всякого упоминания о личной жизни. Приехав на зимние каникулы, собрала у себя подруг во главе с Валькой, куда призвала и меня. Гоша уже без малого год маялся в армии, и развлекать девичью компанию выпало мне.

Люси заметно изменилась: студенчество притупило острые грани ее характера и добавило ему либерализма, снабдило лицо подчеркнутой независимостью и огородило ее фигуру потрескивающим полем снобизма. Она по-другому смотрела и причесывалась, выражалась с ироническим элитным шиком, и черный облегающий свитер ей очень шел. Тем удивительнее было мое открытие: я рассматривал ее без прежнего волнения. Провожая меня, Люси тихо спросила, не хочу ли я пригласить ее в гости. Да хоть завтра, встрепенулся я. Договорились на два часа.

Назавтра в два она была у меня. Подставила щеку и обошла квартиру. С любопытством осматриваясь по сторонам, нашла, что ни я, ни квартира не изменились. Затем прошла со мной на кухню, где мы манерно выпили по чашке чая. Люси восторгалась Питером и хвалила Вальку, которая так верно и самоотверженно ждет своего Гошу, обещавшего по возвращении на ней жениться. И, забегая вперед, скажу, что-таки женился!

После чая она предложила пойти в мою комнату и, не дожидаясь моего согласия, поднялась и направилась туда первой.

"А у тебя здесь все по-прежнему, – заметила она, усаживаясь на диван. – Не сыграешь?"

Я изобразил ей мои последние достижения в области импровизации, и она сказала, что тоже увлеклась джазом. Даже посещает иногда репетиции университетского джаз-оркестра. Вот так неожиданность, вот так пассаж! Не хватало только, чтобы после репетиций какой-нибудь бородатый пианист провожал ее до дома!

"Садись!" – похлопала она рядом с собой, и я погрузился в надушенное облако.

"Не хочешь меня поцеловать?" – вдруг предложила она и, закрыв глаза, подставила губы. Я припал к ним и сразу заметил в их поведении незнакомое волнение. Я старательно целовал их, но желание мое не разгоралось.

"Помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз? – отстранившись, спросила она, и я смутился в ожидании упреков. – Так вот: сегодня я сама говорю, что хочу этого"

Вот так эволюция, вот так экспонента, вот так блажь, вот так блюз! Оторопев, я взглянул на ее заметно побледневшее лицо. Оказывается, ее глаза могут быть сумасшедшими! И что прикажете делать? Помолчав, я сказал:

"Думаю, нам не стоит этого делать..."

"Почему?" – быстро спросила она.

А действительно – почему? Почему мое остервенелое некогда желание обернулось вежливым отказом? И здесь самое время сообщить, что учился я ни больше, ни меньше как на общеэкономическом факультете Плехановки. Ничего странного для ребенка, у которого папа – финансист, а мама – плановик. Куда интереснее, как в очкастой, низкорослой семье вырос зоркий, симпатичный баскетболист ростом метр восемьдесят пять. К этому времени я основательно окунулся в студенческую жизнь. Мои спортивные способности были оценены местом в баскетбольной команде факультета, а музыкальная сноровка имела наглость сколотить джазовый квартет из таких же брюнетов-слухачей, как я сам. В спортивном зале меня возбуждали голоногие, потные пантеры, а на репетиции квартета собирались поклонницы с томной статью, таинственным мерцанием очей и ультрасовременными воззрениями. Да как, скажите, можно пылать платонической любовью на расстоянии, когда рядом столько покладистых прелестниц?! Переспи я с Люси, и у меня возникнут обязательства, которые я не смогу игнорировать. Как честный человек я просто обязан буду на ней жениться! Но перед этим нужно будет изображать пылкого влюбленного, сочинять лживые письма, терпеть добровольное воздержание, и я не знаю, что еще. Нет, нет и нет!

"Потому что так будет лучше для нас обоих, поверь мне!" – как можно убедительнее сказал я.

Люси откинулась на спинку дивана, закинула ногу на ногу, скрестила на груди руки и так сидела с четверть минуты, глядя перед собой. Затем рывком поднялась, прошла твердым шагом в прихожую, дала себя одеть и, ни слова не говоря, оставила меня. Через несколько дней она, не прощаясь, уехала.

Еще через две недели я получил от нее необязательное и малосодержательное письмо, на которое ответил в том же духе. В дальнейшем письма от нее приходили регулярно. Летом я уехал, а вернее, сбежал в стройотряд. А еще точнее, воспользовался удобным поводом, чтобы провести каникулы за тридевять земель от ее укоризненных глаз. Осенью мы по ее инициативе возобновили переписку и увиделись только зимой восемьдесят первого. Облик ее и повадки стали еще более изысканными и покрылись прочным налетом северного аристократизма. Я совершенно искренне и громогласно радовался ее новым сияющим граням и сулил ей видные и звонкие перспективы. Она же, как я теперь понимаю, желала лишь одного: прояснить мои виды на наше совместное будущее. Видимо, не прояснила, и через месяц я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что собирается замуж за ленинградца и что это ее письмо ко

мне последнее. Она желала мне счастья и выражала надежду, что, может быть, когда-нибудь мы свидимся. Письмо заканчивалось словами: "У меня всё".

Разумеется, я ответил. Ответил в самых изысканных и пожелательных выражениях, борясь с соблазном поглумиться над ее холодным целомудрием, которым она заморозила нежные ростки наших отношений. В конце написал: "Теперь и у меня всё". И как раз тут я сильно ошибался: это был вовсе не конец, а самое что ни есть начало. Недаром Люси в ее положении седьмой пониженной ступени обречена быть родовым признаком грустного и неприкаянного блюзового лада, расстроить который может только смерть.

Не прощаемся с Люси: если след ее протянулся через мою жизнь, значит, он протянулся и через этот роман. Спешу, однако, предупредить, что у меня две жизни: первая – до развода, вторая – после него. Да будет вам известно: Люси – дама пик из первой колоды моего жития.

Ирен

1

Итак, я продолжаю мою исповедь – подчеркнуто гладкую, внятную, связную, без всякой там модернистской, постмодернистской и постпостмодернистской трепанации читательского черепа. Напомню: я по-прежнему пытаюсь проникнуть в онтогенез Любви и если отвлекаюсь, то только затем, чтобы ввести в прицел моего метода поправки на взросление.

То трудовое лето восьмидесятого обогатило меня двумя достижениями. Во-первых, я научился играть на гитаре. Уникальная, скажу я вам, вещь! В руках опытного музыканта она становится чем-то вроде шестиструнного психотропного манипулятора, позволяющего разблокировать запоры бессознательного, добраться до сокровенного и сформулировать его. По правде говоря, научился играть – слишком сильно сказано: скорее, освоил три аккорда, которых с лихвой хватало, чтобы подыграть злему любовному разочарованию или зайтись в милой русскому сердцу кочевой цыганской тоске, которая, так же как и блюз, есть один из сленгов тоски универсальной. Ибо истоки их одни и те же: несвобода с видом на горизонт. К основным аккордам я со временем добавил еще парочку и с этим арсеналом приобрел прочную репутацию компанейского парня, позволяющую мне сегодня поделиться с начинающими скоморохами главным скоморошным секретом: в нашем деле главное не аккорды, а чувство.

Во-вторых: познав после расставания с Люси целебную силу злорадного скепсиса, я вступил в пору регулируемого любовного помешательства, то есть, был влюблен во всех девушек и ни в одну персонально. Раскинув паутину моего обаяния, я был подобен, выражаясь словами первого среди энтомологов писателя, *жемчужному пауку*, что возложив коготки на струну паутины, ловит отчаянный призыв нежной, беспомощной жертвы.

Когда в конце второго курса я впервые увидел Ирен, то не ощутил сигналов сердечной тревоги. Возможно, оттого что красивая и бойкая четверокурсница не могла вызвать у меня, неспелого второкурсника, ничего, кроме почтительного уважения. Ведь нас разделяли, страшно сказать, тысячи часов непрочитанных лекций и сотни будущих семинаров, тома ненаписанных конспектов, тротиловые россыпи несданных курсовых и рефератов, минные поля зачетов и экзаменов, киловольты нервного напряжения и мегаватты прилежности! Словом, все то, что давало ей право смотреть на меня рассеянно и снисходительно. Другое дело – осень, когда к успешной сессии и летней трудовой доблести добавился мой статус полноправного игрока факультетской сборной. Мое самомнение достигло суверенных размеров и было готово общаться с Ирен на равных.

Все звали ее Ирен, но вовсе не в угоду студенческому снобизму, а как бы признавая за ней некий невыразимый шарм, который в короткое имя Ира никак не укладывался. А вот протяжное чужестранное "Ире-е-эн" было самым подходящим для безродной провинциалки из

далекого Новосибирска. Спорт в тех дозах, в которых мы его потребляли, лишь пестовал ее кошачью грацию. Так воздушно и невесомо, как ходила она, не ходил никто. Не признавая каблуков, она не наступала на стопу, а перекачивалась на ней, чуть заворачивая носки и двигаясь плавно, бесшумно и вкрадчиво. И если женская походка есть разновидность песенного жанра, то самой подходящей для нее песней была *Mack The Knife*.

Строение ее лица подчинялось одной замечательной жизненной норме, которая по причине необъяснимости всегда вызывала у меня почтительное удивление: как из совокупности далеких от совершенства черт складывается положительный баланс волнующей любовной прибыли?! Вот и у нее: может быть, чуть-чуть длинноват тонкий нос, зато большие, точно посаженные по отношению к нему глаза. Может, крупноват и вызывающе сочен улыбчивый рот, зато красиво вылеплен лоб, высоки неширокие скулы, гладки щеки, изящна линия подбородка. Иначе говоря, отклонения от идеала вполне укладывались в требования моего неокрепшего вкуса. Но главное, в ее глазах и губах таилось спокойное, снисходительное знание. Смотрела и говорила она так, словно ей все было ведомо, в том числе и любовные забавы.

Когда она играла, я не мог оторвать от нее глаз. То обманчиво неторопливая, то взрывоопасная, то стремительная и изворотливая, она ловко пользовалась своим невысоким для баскетбола ростом (метр семьдесят два), чтобы проскользнуть туда, куда путь ее рослым подругам был закрыт. Вколачивая в земной шар звенящий мяч, она белокурой пантерой подкрадывалась к цели, чтобы вдруг взметнуться и, словно потягиваясь после сна, зависнуть с мячом над всем миром. Ее полет так и стоит у меня перед глазами: откинута голова прицеливается, чуткие весы рук взвешивают мяч, белокурый хвост волос наслаждается невесомым парением, на окрепшей шее напряглась косая мышца, живот втянут, грудь вздернута, голенастые, не обремененные излишками мускулатуры ноги в ожидании приземления, распыленный рот готов разорваться победным кличем, либо исторгнуть стон разочарования. "Давай, Ира, давай!" – орал я, испытывая крайний восторг. И то сказать: где и когда еще я мог так безнаказанно громко прокричать на весь мир имя моей новой возлюбленной! Никаких сомнений: я снова влюбился, и мне было ровным счетом наплевать на разницу в возрасте.

Кого ей хватало в избытке, так это провожатых. Она была, что называется, нарасхват, и вокруг нее всегда клубились парни. Они были старше меня, а значит, больше знали. Однако у меня перед ними имелись два козыря – выдающаяся игра и мой тянувший на джокера квартет. Встречая меня в коридорах института, она стала меня узнавать и в ответ на мои приветствия улыбалась и кивала головой. Эту ее рассеянную улыбку я хранил в памяти до следующей встречи.

Однажды в конце октября она подошла ко мне после игры и, обдав теплым запахом сирени, ласково сказала:

"Молодец! Ты сегодня был просто в ударе!"

"Значит, мне положена награда! Можно, я тебя провожу?" – дерзнул я и замер.

"Можно, но не сегодня" – ничем не выдав своего удивления, ответила она и, покинув меня, присоединилась к некоей веселой компании.

Через два дня вечером, придя на тренировку, я столкнулся с ней в дверях зала. Она направлялась в раздевалку и выглядела необычайно соблазнительно: голые, отдающие банной влажностью руки и ноги, вишневая, мокрая у горла футболка на выпуск и белые спортивные трусы. Выражение приятной усталости и запах взмыленной розовой испарины делали ее похожей на Натали, какой она бывала после наших энергичных упражнений. Без малейшей тени того смущения, которое должна испытывать рядом с одетым мужчиной неглижированная девушка, она деловито поинтересовалась, не раздумал ли я ее провожать.

"Не раздумал!" – вспыхнул я.

"Тогда жди меня здесь после вашей тренировки"

Я дождался, и мы пешком направились к общежитию. По пути я сообщил ей, кто я такой есть и, не спеша выкидывать джокер, ответил на ее деловитые вопросы. Взамен я узнал, что она из Новосибирска. В комнате вместе с ней жили еще две девчонки, и она представила меня:

"Знакомьтесь, девочки: это Юрочка Васильев, молодой и способный баскетболист! Все свои победы посвящает мне!"

Мы пили чай, и я, стараясь казаться старше и умнее, чем был, развлекал хозяек, как мог. При расставании я спросил Ирен, когда мы увидимся.

"Я скажу" – был ее невозмутимый ответ.

2

Казалось бы, теперь я мог провожать ее каждый день, но нет: я словно стоял в невидимой очереди и своего номера не знал. Как правило, мой номер выпадал на дни тренировок, но бывало, что Ирен вдруг появлялась возле аудитории, где у меня была очередная пара и деловито интересовалась на ходу: "Сегодня можешь?" Я провожал ее до общежития, мы поднимались к ней и пили чай с чудным изюмовым кексом и конфетами "Белочка". Так продолжалось до декабря, когда однажды вечером я спросил, не желает ли она меня проводить.

"Как? – удивилась она. – Ведь ты же живешь... Погоди, где ты у нас живешь?"

"В Подольске! – улыбнулся я. – Но я предлагаю проводить меня до конференц-зала. Здесь, в институте" – и повел ее на репетицию квартета.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что не рассчитывал на эффект, но он, как говорится, превзошел все ожидания. Ирен была далека от серьезной музыки, а тем более от джаза, и потому моя музыкальная ипостась вызвала у нее такое же восторженное восхищение, как если бы я на ее глазах из пастуха превратился в принца. Когда в перерыве я спустился к ней со сцены в полутемный зал, она, глядя на меня широко открытыми, блестящими глазами, с ревнивым изумлением пропела:

"Ничего себе! Что же ты раньше молчал?"

Безусловно, с точки зрения чистого опыта мой сюрприз иначе как запрещенным приемом не назовешь. Однако с точки зрения любви коварства в нем не больше, чем в декольтированной груди. Как бы то ни было, событие это добавило нашим отношениям вес и гладкую шаровидность, отчего они быстро и решительно покатались в нужную сторону. На меня перестали смотреть, как на юного пажа, и я из провожатого был возведен в ранг сопровождающего лица. До Нового года мы успели несколько раз сходить в кино и трижды посетить кафе-мороженое. К этому следует добавить несколько затяжных прогулок по городу и обстоятельный поход в ГУМ.

"Где ты собираешься встречать Новый год?" – спросила она меня за неделю до праздника.

"Где ты, там и я. Если не возражаешь, конечно..."

В тот раз она промолчала, а за два дня до Нового года сказала:

"Купи две бутылки шампанского и торт и приходи ко мне тридцать первого часам к десяти вечера..."

Я явился в назначенный час. Меня встретила непривычно высокая, затянутая в узкое черное платье хозяйка – царственно лучезарная, как дорогой, одинокий бриллиант. Посреди комнаты, втянув под себя два стула и прикрыв подолом скатерти тощие ноги, стоял ошетилившийся свечами праздничный стол, а у окна на тумбочке – полуметровая, увешанная шарами елка. Гирлянды снежинок со свисающими конфетти перепоясывали плоскую грудь потолка. Пахло хвоей и апельсинами. Покачиваясь на непривычных каблуках, Ирен подошла к двери и двумя звучными поворотами ключа заперла ее.

"Все! До утра здесь никого нет!" – посмотрела она на меня с непривычным розовым смущением. Мое сердце откликнулось гулким смятением: таким неправдоподобным показалось мне прикрытое прозрачным намеком будущее.

"Зажигай свечи, туши свет!" – распорядилась Ирен. Я повиновался, и к запаху апельсинов добавился едкий запах серы и чадающее дыхание стеарина.

Уселись за стол. Я открыл шампанское, наполнил им узкие, изящные, как бедра Ирен бокалы, и мы выпили за старый год. Ощувив вдруг голод, я набросился на еду. Сидя напротив и поставив локти на стол, Ирен удерживала бокал пониже глаз и смотрела на меня с тонкой улыбкой – один из многих ее снимков, который на всю жизнь запечатлела моя внутренняя *camera obscura*.

"До чего же вкусно! – наконец откинулся я. – Кто готовил?"

"Я" – глядело на меня поверх бокала пляшущее пламя ее глаз.

"Черт возьми! – вдруг спохватился я. – Надо было поцеловать ее прямо у двери! А теперь что? Как быть теперь? Встать и поцеловать? Да это же какая пошлость: выпил, поел и полез целоваться! Твою мать, твою мать!.. Нет, нет, это невозможно! Надо сделать что-то благопристойное, придумать какую-то паузу! Может, потанцевать?" – метались мои мысли.

"Извини, с утра ничего не ел..." – виновато сообщил я.

"Бедненький! Ешь, ешь, не торопись!" – вежливо пожалела она меня.

Я добавил шампанское себе и ей и предложил выпить за нас. Глядя на меня с немигающим любопытством, она согласилась. Ах, эти минуты, эти томительные, стеснительные, драгоценные и неповторимые минуты накануне капитуляции, когда любящий мужчина отказывается верить в происходящее, а женщина последний раз спрашивает себя, правильно ли она поступает! Ради них, этих минут я останавливаюсь на подробностях, которые мог бы опустить, ради них заставляю биться мое обугленное пламенными страстями сердце! Особое, ни с чем несравнимое состояние, которое хочется одновременно продлить и преодолеть, потому что дальше будет еще лучше, но ТАК уже не будет!

Шампанское подействовало, и я ощутил головокружительное вдохновение.

"Ириша, – ведомый любовным инстинктом, начал я, – мне страшно неудобно!"

"Почему?" – вежливо удивилась Ирен.

"Потому что я... я хочу тебя поцеловать! Ирочка, можно, я тебя поцелую?" – вскочил я.

Она улыбнулась и медленно встала:

"Ну иди, целуй..."

Я кинулся к ней, мы вцепились друг в друга и через минуту уже барахтались в ее постели.

3

...Мы лежали на узкой кровати: я – на спине, Ирен – уложив голову мне на плечо и забросив согнутую в колене ногу на мои бедра. Поза абсолютного доверия, как я ее называю. Минуты, когда даже самая несносная женщина тиха, нежна и покорна. Бережно прижимая к себе разомлевшую добычу, я рассеянным взглядом бродил по потолку, где трепетали стеариновые тени. Уютный, домашний аромат любимых волос ласкал мое обоняние, моя кожа срасталась с теплой кожей Ирен, а на губах таял винный вкус ее губ. От оживленного в этот час коридора нашу келью отделяла тонкая дверь, и громкие голоса жили и смеялись буквально рядом с нашей кроватью. Единственная досада, к которой следовало привыкнуть.

Во мне еще не остыли подробности: торопливо срывающие одежду руки, мечущиеся по обнаженному телу ладони, лихорадочные поцелуи, каучуковая упругость набухшей груди, обжигающий наконечник копья, неистовый восторг копыеносца, изнывающие створки крепостных ворот, вторжение, слепое упоение схваткой, стонущий коллаборационизм осажденных, их ликующая капитуляция и судорожное исполнение заветной мечты. Каких-то особых инструкций перед штурмом я не получил и потому сделал то, к чему был приучен моим скромным опытом, а именно: при первых же позывах любовной рвоты поспешно покинул гостеприимную крепость и опустил себя на ее стены.

"О, какой ты голодный!" – удивлялась Ирен, удаляя с себя обильные следы моего разговения.

Да, в постели она не новичок – таков был невольный итог моих первых впечатлений. Хоть я и был готов к чему-то подобному, признаюсь: ревнивое разочарование оставило на моем сердце чувствительную царапину. Ирен тем временем была не прочь понежиться: уютно прижавшись ко мне, она уложила теплую, без сомнения впечатленную ладонь на мое копые, и в ее осторожных потискиваниях и поглаживании чувствовалось приятное одобрителное удивление.

"Спасибо, что заботишься обо мне..." – погладила она того, кому была адресована ее благодарность.

"Ну что ты, иначе нельзя!" – отвечал я.

"Почему? – удивилась она и, помолчав, подняла ко мне лицо: – Ты что, никогда, никогда?.. Ни-ни?.."

Я выразительно смутился.

"Бедненький!" – потянулась она ко мне жалостливым бантиком губ. Я припал к ним. Не отнимая губ, Ирен взобралась на меня и осталась лежать, поводя бедрами. Оторвавшись, оседлала мои бедра, ловко и плотно насадила себя на древко и превратилась в колышущееся боевое знамя. Такими женщин я еще не видел: запрокинутая голова, рассыпанные по вздернутым плечам волосы, приплюсывающая грудь и напрягшийся живот. Все на виду, обнаженное, сочлененное, гибкое, волнующееся. Под стон пружин и речитатив снующих за дверью голосов я гладил ее раздвинутые пружинистые бедра и жалел ее распяленное, всхлипывающее лоно. Я провожал ее на взлете и встречал при посадке, сдерживал ее крылатый порыв и направлял ее слепое усердие. Ее именем заклинал мою несдержанность и энергичными толчками сигналил о надвигающейся буре. Она, кажется, не слышала меня и все яростнее вонзала в себя разбухшее от влаги древко. Мне не надо было куда-то убежать, и я дал себе волю. Лица наши перекосила болезненная, сверхутомительная гримаса. Запахло пряным пдотом и чем-то глубинным, нутряным, отчего мои ноздри жадно распахнулись. Казалось, с моей помощью Ирен пытается пробить в себе некую преграду, для чего раз за разом обрушивается на меня всем весом. Наконец ей это удалось: из образовавшегося отверстия ударил фонтан чувств, солидарные судороги сотрясли нас, и она словно подрубленное дерево медленно склонилась ко мне. Запоздалые содрогания выталкивали из моей наездницы икотные стоны и, успокаивая ее, я целовал застывшее лицо и оглаживал чуткую спину.

Придя в себя, она с утомленной улыбкой поцеловала меня, разогнулась, дотянулась до полотенца и, привстав над седлом, принялась освобождаться от моих даров, бесстыдно подставив мне набухшую грудь, округлившийся живот, гладкие мышцы разведенных бедер с проступившими сквозь тонкую кожу сухожилиями и черный мохнатый пах. Завершив гигиенические хлопоты, она пристроилась сбоку, облокотилась, подперла ладонью голову и, обдав сладким запахом подмышек, спросила:

"Ну как, хорошо было?"

Это было не просто хорошо, это было безумно хорошо! Ничего подобного я еще не испытывал! О, Ирен, моя порочная, божественная Ирен! Она склонилась надо мной и, вглядываясь в меня, невесомым пальчиком принялась обводить мои брови, нос, губы, подбородок. Нарисовав мне лицо, она расписалась на нем губами и, отпрянув, деловито воскликнула:

"Ну все, встаем, а то Новый год проспим!"

Я сел и стыдливо набросил на бедра одеяло. Ирен, напротив, жеманиться не стала: выбравшись из кровати, она закружила по комнате прекрасной голой ведьмой, демонстрирующей невиданное невидимое платье. Знакомый до этого лишь с подростковыми прелестями Натали, я застыл, захваченный неодолимым соблазном зрелой девичьей наготы. Не заботясь о позах и ракурсах, Ирен неторопливо подбирала нашу разбросанную тут и там одежду и

складывала ее на стул. Моя *camera obscura* заработала с лихорадочной скоростью. Вот Ирен остановилась в метре от меня (щелк!), повернулась ко мне спиной (щелк!) и наклонилась за чулками (щелк, щелк, щелк!). Вздрыгнулись и разверзлись молочные берега и явили мне взрывные подробности ее заповедных мест (и до сих пор являют, лишь закрою глаза). Подернутые мускатной тенью створки приоткрылись, и сердце мое превратилось в пушечное ядро. Плохо соображая, я потянулся к ним рукой, но Ирен отступила, подобрала с пола мои трусы и надела их. Затем притворно спохватилась: "Ой, это же твои!", подошла ко мне, скинула их и застыла передо мной ожившей, ошеломительно доступной богиней, наполнив мою голову изнемогающим щелканьем. В безотчетном порыве я сполз на колени, привлек ее к себе и прижался щекой к животу, погрузив подбородок в щекочущие райские заросли. Она запустила пальцы в мои волосы, и когда я накинута с поцелуями на ее живот, ее руки с мягкой силой потребовали у моих губ спуститься ниже. Я принял их призыв за случайный, судорожный каприз, но они продолжали настойчиво толкать меня вниз.

Куда?! Ведь там же... Да, и что? Ты считаешь, что это гадко и непристойно? Нет, но... Тогда вниз и вперед! Но я не могу – богиня, все-таки! Глупости! Богиня тоже человек! Давай, красавчик, смелее! Мужчина ты или нет?

И я подчинился. Примяв курчавый мех и чувствуя себя так, словно бросаю оскорбительный вызов высокому белокрылому покровительству, я прикоснулся губами к ее теплomu, влажному лону. Ирен расставила ноги, прижала мою голову к себе, и мой рот погрузился в невообразимо нежные, глянцево-скользкие складки. Придерживая меня одной рукой за затылок, другой рукой она нервно теребила мои волосы. Но кто мне скажет, что делать дальше? И я замер, не в силах оторвать губы от горячего гейзера, чьи терпкие испарения дурманили мое обоняние.

Ирен, видимо, решила, что для начала с меня хватит, и ослабила хватку. Я обмяк и спрятал польхающее лицо у нее на животе, думая лишь об одном: как быть с губами? Облизнуть их было бы чересчур смело. Вытереть рукой – значит, обнаружить брезгливость. И я освободился от жгучей влаги, делая вид, что целую ее живот и думая лишь об одном: как я теперь этим губами буду ее целовать? Как верующему после ЭТОГО целовать крест?!

То, к чему Ирен меня подтолкнула, стало для меня откровением. Впервые я всеми органами чувств коснулся этой таинственной и малоизвестной мною части женского материка. Даже не части, а могущественной метрополии, которой подчиняются остальные органы женского тела (и мужского, кстати, тоже). О ней нельзя говорить низкими и плоскими словами, и достойные ее гимны еще не написаны. В подтверждение того, что такие попытки время от времени предпринимаются на самом авторитетном уровне, сошлюсь на поэтические вольности Луи Арагона – поэта и романиста, члена Гонкурвской академии, лауреата Международной Ленинской премии, написавшего во времена своей молодости роман "Вагина Ирены" (это примечательное совпадение имен и обстоятельств обнаружилось мною много лет спустя). И лишь остатки приличия заставляют меня употребить здесь латинский термин "vagina" вместо того авторского, забористого словца, которое рифмуясь у нас со словом "звезда", является самой влиятельной черной дырой во вселенной русского языка. Слово, которое презрительная мужская неразборчивость записала при рождении в низшее сословие, и которое с тех пор не оставляет попыток снять с себя родовое проклятие. Возможно, поэтому поэт Арагон, минуя игривые эвфемизмы (а их по собственным подсчетам французов несколько тысяч), употребил его, словно желая сказать, что даже самое одиозное обозначение не в силах оскорбить эту волшебную женскую принадлежность. И вот что он пишет:

"О, сладкая п**** Ирены! Такая крошечная и такая бесценная! Только здесь достойный тебя мужчина может наконец-то достичь исполнения всех своих желаний. Не бойся приблизить свое лицо и даже свой язык, болтливый, распущенный язык, к этому месту, к этому сладостному и тенистому местечку, внутреннему дворику страсти за перламутровой оградой, испол-

ненному бесконечной грусти. О щель, влажная и нежная щель, манящая головокружительная бездна!"

Спешу уведомить побагровевшего от негодования читателя, что в отличие от Ивана Баркова, я никогда не опущусь до воспевания того мужского приспособления, что *по ней летает, как по сараю воробей*.

Да простят меня за подробности, но следуя заявленной ранее цели, я никак не могу их избежать, какими бы пикантными они ни были. Новый опыт оказался настолько радикальным, что обойдя его стыдливым молчанием, я рискую оставить стройное здание моего эссе без целого этажа. То, что Ирен заставила меня сделать, было подобно целованию боевого знамени. Сколько я их потом перецеловал, этих боевых знамен – каждый раз клянясь им в верности и после эту клятву нарушая! Мое романтическое любовное вероисповедание было отныне потеснено телесным фетишизмом, а каждый любовный обряд превратился в познание любовного опьянения. Но это все потом, позже. А пока мы оделись, сошлись и обнялись. Мои губы запутались в ее волосах и, спустившись к уху, произнесли:

"Я люблю тебя, Ириша!"

Она отстранилась, взглянула на меня и быстро поцеловала. Сдвинув стулья и тесно прижавшись плечами, мы сидели, рука в руке, в ожидании кремлевских курантов.

"Ты не жалеешь, что встречаешь Новый год со мной, а не с группой?" – спросил я.

"Ну что ты! – с горячим укором взглянула она на меня. – А ты?"

"Ириша, это лучший Новый год в моей жизни!" – с жаром воскликнул я.

То же самое и с тем же жаром я могу повторить и сегодня.

4

Мы встретили бой курантов затяжным поцелуем и запили его беззубым шампанским. Рядом со мной находилась мечта всей моей девятнадцатилетней жизни. Близкая, желанная, доступная, с томным синеглазым прищуром и слабой улыбкой удовольствия на мокрых от вина губах. Мы были одни на целом свете. Все прочие, невидимые и необязательные, достигали нашего слуха ватным отзвуком веселья. Мы любили, мы принадлежали друг другу, и впереди нас ждали осязаемые ласки, нетерпеливая игра рук, плакучая истома и сомнамбулический лепет. Эта волшебная ночь в сказочной пещере с тремя узкими койками, сплетницей-дверью, натающими снежинками на алебастровом небе и призрачным трепетом свечей казалась мне началом прекрасной легенды. Всё в наших руках, всё в нашей власти! Это ли не повод для серьезных планов? И я рубанул:

"Ириша, выходи за меня замуж!"

Ирен взглянула на меня с изумлением:

"Но ты же меня совсем не знаешь!"

"Я знаю только одно: ты лучше всех!" – взяв ее за плечи, внушительно сказал я.

Есть в жизни молчаливые моменты, которые стоят тысячи убедительных слов. Это был именно такой момент. Мы находились в самом эпицентре стихийного бедствия по имени любовь и, желая спастись, крепко и тесно прижались друг к другу. Ирен обхватила меня за шею, щекой прижалась к моей щеке, и я замкнул на ее спине нежные кандалы объятий. А между тем к двадцати неполным годам это было мое третье предложение! Марьяжный зуд, да и только! Сегодня я вместе с сочувствующим мне читателем улыбаюсь моей былой наивности: увы, такова завидная привилегия той молочно-восковой человеческой спелости, что зовется юностью!

Мы снова уселись за стол и проговорили с полчаса. Ирен впервые приоткрыла дверь в покои своей памяти, где под присмотром добрых, улыбчивых родителей и неутомимого сибирского солнца светло и радостно жила бойкая, способная и любознательная девочка. Прилежно

училась, переходила из класса в класс, с серебряной медалью закончила школу. Рискнула поехать в Москву и поступила в институт. Считает, что ей повезло и теперь не представляет, как можно жить в другом городе. В общем, влюбилась она в меня не вовремя. Ей сейчас нужно думать совсем о другом...

"Вот и выходи за меня! Подольск – это ведь та же Москва, только лучше!" – правильно понял я.

"Ах, Юрочка! – порывисто обхватила она меня за шею. Затем так же порывисто отстранилась и, глядя мне в глаза, заговорила горячо и торопливо: – Только ради бога не думай, что я легла с тобой ради какой-то там прописки! Если честно, ко мне поклонники в очередь стоят! Я могу выйти замуж хоть завтра! Но с тобой у меня другое! Ведь я в тебя влюбилась! Влюбилась, как кошка – до противного весеннего воя! Скажешь, дура, да?"

В ответ я как влюбленный смерч затянул ее в объятия и принялся беспорядочно целовать, бормоча самые нежные, самые потайные и истеричные слова, какие у меня только были.

"Ты правда меня любишь?" – глядели на меня доверчивые, влажные глаза.

"Ириша, милая, я с ума по тебе схожу! Ничего не бойся, слышишь, ничего! Я буду любить тебя всегда!" – страдая от невозможности достойно выразиться, надрывалось мое сердце.

Сегодня я знаю: любовь есть самый совершенный и непревзойденный галлюциноген. Так сказать, утешительный приз человеку за ту короткую, брэнную дистанцию, что зовется жизнью. Неудивительно, что в неумеренных дозах она помрачает разум, отчего клятвы влюбленных напоминают бред. И все же если наши отношения с Ирен не пошли дальше кровати, в том нет моей вины.

Подхватив Ирен на руки, так что дрогнуло пламя свечей, я закружился с ней, расталкивая широкой спиной тесноту комнаты. Часы показывали половину второго ночи – первой ночи января одна тысяча девятьсот восемьдесят первого года. Я поднес Ирен к кровати и вернул в вертикальное положение.

"Раздень меня..." – закрыв глаза, томно попросила она.

Я благоговейно раздел и уложил ее на кровать, после чего осыпал поцелуями: от плеч через грудь и живот и ниже, ниже, еще ниже – туда, куда она направила меня прошлый раз. Согнувшись в три погибели, я подобрался к цели, неловко пристроился и, раздувая ноздри, погрузился в первоисточник сущего. Во мне проснулась чья-то память и научила новой захватывающей игре. Все оказалось на удивление просто: я должен был вести себя так, будто это были влажные, гладкие губы, которые только что облизнули. Волглая вагина и ее пряное пьяное дыхание – эссенция и квинтэссенция страсти. Ирен приняла игру и назначила свои пальцы в надзиратели моей голове. Бедра ее часто и крупно вздрагивали, пальцы замерли и напряглись, она подалась ко мне, подхватила под мышки и потянула на себя. А дальше была моя *пенистая* ария, пенные волны ее придушенного ликования и слепые, остекленевшие глаза.

Заметьте, я описываю только то, что имело для меня в тот момент патентную, так сказать, новизну. И описанное действие, о котором я еще вчера не думал, а если бы подумал, то с брезгливостью, сегодня представлялось мне острой, экзотической приправой к божественному блюду. И здесь крайне важно, что поменять мое представление о нем, как о чем-то порочном и нечистом мне помогла любовь.

Моя голова вернулась на грудь моей возлюбленной (самое райское, между нами говоря, место на земле), и я спросил, правильно ли я ЭТО делал.

"Я не знаю, как правильно и как неправильно. Но раз мне было хорошо, значит, правильно" – сдержано ответила Ирен.

И, помолчав, добавила:

"У меня был всего один мальчишка... Здесь, в Москве... Без любви, так, из любопытства... Ничем таким мы с ним не занимались, так что про это я знаю от моих соседок. Они когда мне про это рассказывали, предупредили, что не всем мужчинам это нравится..."

В ответ я припал к ее груди. Вцепившись в мои волосы, Ирен беспорядочно ворошила их, а когда я насытился, сказала:

"Любовь, как война – все списывает. Мне вот, например, все равно с кем ты был раньше..."

"Если хочешь, могу рассказать..."

"Не надо. Теперь ты только мой"

"И все же – у меня была одна девчонка, и мы с ней тоже ничем таким не занимались. Так что у меня это тоже первый раз..."

"Чудак ты, дядя!" – снисходительно улыбнутся те нынешние мальчишки, которых порносайты к шестнадцати годам сделали всезнающими и всеядными. Они умеют управляться с различными гаджетами, но у них отсутствует главный гаджет – сердце. Подкрепив себя энергетиком, они совокупляются с тем скороспелым знанием дела, которое мне, непосвященному, приходилось по крохам добывать годами. Завидую ли я им? Ничуть, потому что это тот самый счастливый случай, когда путь познания важнее и упитательнее самого знания. Да, мои молодые просвещенные друзья: я – герой не вашего времени. Но в том времени, откуда я родом, героями были все. Мы были молоды, отважны и доверчивы. Нас могли обмануть политики, но не любовь, и мы дивизиями сдавались ей в плен, чтобы стать ее рабами. Дети романтической эпохи, мы даже в кровати оставались целомудренными. И мне жаль будущие поколения, которые обязательно найдут противоядие от любви и стыда и после этого перестанут быть людьми.

Прильнув ко мне, Ирен говорила:

"Мы, девочки, устроены совсем не так, как вы, мальчишки. Мы переживаем сильнее и глубже, чем вы, и поэтому нас перед ЭТИМ надо гладить, целовать, признаваться в любви, просить прощения, всякие слова хорошие говорить... В общем, надо сначала подготовить. Тогда и мне будет хорошо, и тебе. Попробуй, а я буду подсказывать. Только ради бога не подумай, что я это уже с кем-то делала! Просто я женщина и знаю! Вот давай, я покажу, как надо меня целовать..."

И она к тем приемам, что я знал, добавила свой острый любопытный язычок. Что за странное щекочущее ощущение, когда в лежище твоего лежебоки-языка вторгается гибкая, яркая, сочная дама и пытается занять его место!

"Вот так, говорят, нужно делать и ТАМ! – многозначительно повела глазами вниз Ирен и деловито продолжила: – Теперь грудь! Вот, смотри!" – и стала показывать, где и как ее надо трогать, что и как целовать. Подпалив сухую инструкцию любовным огнем, я попробовал, и получился послушный ручной пожар. Закрыв глаза и украсив себя блаженной улыбкой, Ирен бормотала:

"Да, так, так, Юрочка, правильно, все правильно..."

Что за ночь: каждые пять минут – великое открытие! Насладившись, Ирен продолжила:

"Мне будет приятно, если ты погладишь меня здесь, здесь и здесь, – взяв мою руку в свою, провела она ею по животу, паху и внутренней стороне глянцевых ног. – А особенно здесь, – возложила она мою ладонь на свой лобок. – Вот, смотри: теперь самое главное..."

И выделив из моей ладони средний палец, преподала ему первый урок точечного массажа, от которого, в конце концов, возбудила и себя, и меня.

"Теперь ты..." – пробормотала она и закрыла глаза.

Я оказался хорошим учеником, что она вскоре и подтвердила подрагиванием и тихими стонами. На поле боя выкатилась моя царь-пушка и под страстное уханье пружин довершила наши скоропалительные маневры. Придя в себя, Ирен пробормотала:

"Кошмар... Я целых четыре раза успела... – и, покраснев, добавила: – Ты, наверное, считаешь меня совсем бесстыжей, да?"

Через полчаса мы договорились, что утром я везу ее знакомить с родителями, притом что покинуть комнату нам придется до того, как вернутся ее подруги – то есть, до девяти. Я

успел побывать в ней еще дважды, и после того как она, донельзя довольная, заснула у меня на груди, отнес ее на свободную кровать и, стоя на коленях, минут десять любовался ее сонным изнеможением.

В дальнейшем я, пользуясь ею, как наглядным пособием, изучил и по достоинству оценил строение женского тела и особенно его поясничного отдела. Великая природа, трудолюбивая и неугомонная, мало того что наделила женщин тщательно продуманным сложением, но к тому же удивительно уместно расположила и замаскировала их главный и самый важный канал связи с внешним миром. *Белогрудые волны и заводь-живот сквозь воронку текут в перламутровый грот.* Поместив ее кимберлитовую трубку в корневых истоках междуречья и наделив небывалой степенью свободы, она тем самым избавила женщин от необходимости задирать хвосты и приседать на задние лапы. Облагородив таким образом животную суть человеческого соития, она превратила его в сладостный диалог одержимой и неудержимой плоти.

5

Любовь состоит из тысячи мелочей, и каждая мелочь важна. Например, самоотверженная решимость Ирен ехать со мной морозным новогодним утром на край света. Трогательно бессильная, с нежелающим просыпаться лицом и безвольно брошенными на колени руками она сидела на кровати, собираясь с духом.

"Оставайся! – говорил я. – Днем я за тобой приеду"

"Нет, нет! – лепетала она. – Сейчас встану... Сейчас, подожди... Вот, сейчас, сейчас..."

Пожелай она остаться в теплой постельке, и я бы ее понял, но некая моя ничтожно малая часть с безукоризненной памятью и злобным нравом не забыла бы, не простила и ждала бы своего часа, чтобы припомнить и восторжествовать.

Когда приехали, я представил ее родителям, как невесту, чем до корней волос смутил ее и ошарашил мать. Интересно, а кого еще я мог привести к себе домой первого января в половине одиннадцатого утра? Любовницы, знаете ли, в такое время еще спят в своих измятых постелях, и только полусонные верные жены уже на ногах.

Познакомив Ирен с родителями, я принялся ей угождать. Превосходя предупредительностью всех метрдотелей мира, я ходил за ней по пятам, забегал вперед, подсовывал ей кухню, гостиную, комнату родителей, мою комнату с диваном, кроватью и пианино. Ее подтянутая фигура прекрасно вписалась в знакомый мне со времен ночных детских страхов интерьер, и когда она, размякшая, закутанная в длинный халат, с тюрбаном на голове шамаханской царицей выплыла из ванной, кто-то внутри меня восхищенно ахнул.

Рассказывая вам свою историю, я ни в коем случае не претендую на обобщения, но сдаётся мне, что никому не удалось и не удастся миновать этот ранний, романтический период взросления, отмеченный поисками Вечной Жены (и Вечного Мужа), когда брак видится залогом счастливой взрослой жизни. Это уже потом, когда блекнет таинство альковного уединения, и любовь превращается в супружеский долг, многие не прочь избавиться от этого заблуждения.

Ирен захотела поспать, и я, уложив ее в мою кровать, наклонился, чтобы поцеловать. Она обняла меня за шею и сказала: "Полежи со мной...". Раздевшись, я лег, обнял ее и не выпускал до тех пор, пока ее душистое, хранящее память о теплой ванне тело не задышало тихо и ровно.

После сна Ирен вышла свежая и деятельная. С хозяйской сноровкой, что жила у нее на кончиках пальцев, быстро помогла матери собрать на стол, дала несколько дельных кухонных советов, успела поговорить с отцом о последних достижениях экономической науки и нашла время, чтобы прильнуть ко мне в укромном месте. Ее волосы тонко пахли ромашкой, ее кожа отливалась молочным здоровьем, ее хотелось взять на руки и идти с ней по жизни, как с песней. За ужином она вспомнила родительский дом, своих интеллигентных, трудолюбивых родителей, что ждут ее на зимние каникулы и очень напоминают ей хозяев этой квартиры.

В своем темном выходном платье с голыми, молочно-спелыми руками, с гладко зачесанными светлыми волосами, с подведенными глазами и помадой на губах она выглядела сногшибательно. Я опять не ошибся с выбором, думал я, глядя на королевский поворот ее головы, с которым она обратилась к матери, чтобы сообщить, какой у нее замечательный сын.

Дотянув до ночи, мы стали готовиться ко сну. Я попросил у матери еще один комплект постельного белья, давая тем самым понять, что приличия будут соблюдены. Пожелав родителям спокойной ночи, мы закрылись, после чего тут же воссоединились в моей кровати. Теперь, когда все слова были сказаны, а запреты сняты, нам оставалось только широко и свободно предаться самому упоительному на свете занятию, каким является обладание любимым человеком.

Ах, Ирен, моя грешная, сладострастная Ирен! Моя ненасытная искусительница, мое неутолимое желание! Искушаемая и влюбленная, она страстно и неутомимо льнула ко мне, а накричавшись, шла в ванную, чтобы возвратившись, прижаться ко мне влажным лобком.

"Юрочка, сладенький! Ну, так было хорошо, так хорошо, что лучше и быть не может!" – едва не всхлипнув, пробормотала она из последних сил, перед тем как провалиться в сон, а потом остаться у меня еще на одну ночь и убедиться, что бывает и лучше.

6

Началась сессия, и я предложил Ирен переехать ко мне, но поскольку она, как и я сама была в меру нерадива и зависела от конспектов, которые, как известно, во время сессии на вес золота, то осталась в общежитии. Чтобы быть ближе к ней, я стал туда приезжать и, обосновавшись у одного из сокурсников, время от времени навещал ее комнату. В течение дня всегда находились полчаса, когда ее подруги, словно по уговору исчезали, дверь закрывалась на ключ, и мы, на ходу сбрасывая одежду, торопились в кровать. Один раз, не имея терпения, сделали ЭТО на ближайшем стуле, а обмякнув, столкнулись смущенными взглядами.

"Вот ничего себе! Называется, зашел на минутку!" – воскликнула очаровательно раскрасневшаяся Ирен, не торопясь покидать мои бедра.

Как я уже говорил, она ревностно следила за тем, чтобы нас не видели вместе, и когда шла меня вечером провожать, покидала общежитие в одиночку, чтобы воссоединиться со мной метрах в двухстах от метро.

"Почему мы скрываемся?" – удивился я однажды.

"Не хочу, чтобы знали в группе. Узнают, скажут: ну, Ефимова, ну, стерва, молодого себе завела! А я не завела – я полюбила. Только никому этого знать не положено. Не их собачье дело!"

"А те, что живут с тобой?"

"Они девки нормальные..."

Нормальные девки, молчаливые и загадочные весталки коммунального очага, смотрели на меня, как на живую иллюстрацию красивой и романтической истории с их подругой в главной роли.

После каждого экзамена она ночевала у меня. Итого, в январе вместо тридцати одной всего пять (не считая трех праздничных) жарких, исповедальных, обморочно-страстных ночей. На мое счастье или на беду Ирен оказалась чрезвычайно чувствительной к ласкам, и того, чему она меня научила, с лихвой хватало, чтобы довести ее до косноязычия. Сама она стеснялась этого своего свойства и считала его недостатком.

"Опять я кричала, как сумасшедшая? – смущенно спрашивала она. – Что твои родители подумают..."

Мне ее несдержанность, напротив, нравилась, и за отсутствием достаточного опыта (Натали в этом смысле была ребенком) я полагал, что так должны себя вести все женщины.

Однако мои последующие связи (а к ним помимо девяти судьбоносных следует отнести десятка три случайных) убедили меня, что в лице Ирен я имел дело со здоровой формой гиперсексуальности – своего рода мужской мечтой.

Как-то раз после очередного неистовства я спросил ее о том, о чем всегда стеснялся спросить Натали, а именно: каково это – терпеть в своей тесной, жаркой конюшне моего буйного, необъезженного жеребца. "О да! – воскликнула Ирен. – Он у тебя действительно грандиозный!" и поведала, как встречает его на пороге и жалеет, что он торопится его переступить – ей бы так хотелось, чтобы он терся об нее уздечкой подольше! Как подхватив под уздцы, заводит похрапывающего гостя внутрь, тесными объятиями и встречной игрой бедер раззадоривает его старание и подстрекает к дебошу, давая понять: чем он бесцеремоннее, тем приятней и радостней ей. Как возбуждаемый им сладкий зуд горячей патокой растекается по телу, становится нестерпимым и доводит ее до предсмертной агонии. И как очнувшись, она открывает глаза, видит меня и не хочет, чтобы я ее покидал.

Ну и, конечно, ее запахи. Застенчивые и неброские, представительные и благонаправленные, плотские и далекие от благовония, они были ярче, крепче и бесстыднее, чем у Натали. Однажды она перед тем как встать с постели, мазнула пальчиком по моей груди и сказала, что так метит меня своим запахом. Откуда запах, спросил я, и она ответила: "Из-под хвоста, откуда же еще..."

В начале февраля она уехала домой на каникулы. Это был последний раз, когда она могла там побывать: лето мы договорились провести вдвоем, и если удастся, то съездить в Крым. Вернувшись, она привезла с собой бездонную, безграничную радость. Ничто не мешало ей теперь переехать ко мне, что она и сделала. И наступили дни невозможного счастья. Прильнув головами и сцепившись калачами рук, мы засыпали в электричке, а расставшись в институте, начинали мечтать о воссоединении. Бывали дни, когда мы оставались дома, и тогда наш быт отливался ясным, ровным светом семейного благообразия. "Юрочка, иди завтракать!" – и я шел завтракать. "Юрочка, обед готов!" – и я шел на запах обеда. Кофе готов, чай готов, ужин готов, и вот уже сама Ирен готова, чтобы ее испили до дна. Там где можно, мы ходили под ручку, и видя наше отражение в витрине, я расправлял плечи и шутил. Ирен вскидывала на меня радостное, послушное лицо и смеялась, как ручная, преданная жена. Я знаю точно: она любила меня как никого и никогда. Любила до набожных слез, до самоотречения, до рабской покорности.

Так мы прожили март, апрель и половину мая. В середине мая, в один из редких дней, когда Ирен ночевала в общежитии, я случайно столкнулся в Подольске с Натали. В модном кремовом плаще, под которым темно-синей искрой переливалось добротное платье, короткая пышная стрижка и косметика – все тот же портновский глаз и вместе с тем новая, подростковая, повзрослевшая. Черты ее лица, преждевременно и обильно обожженные мужскими гормонами, потеряли былую бархатистость и отдавали гладким керамическим блеском. Зрелая девица на выданье, явно не нуждавшаяся в прощении. После нескольких неловких, необязательных фраз мы расстались, и всё дальнейшее я, пересмешник эзотерических истин, склонен приписать ее дурному ревнивому глазу.

В конце мая случилось вот что. То ли весенний дурман помутил моей возлюбленной разум, то ли материализовалось то, что давно витало в воздухе, но однажды Ирен устроилась у моих бедер и завладела моим жезлом, с которым любила играть, как с живой теплой куклой – раздевая, одевая и разговаривая. Я нежился, закрыв глаза и чувствуя, как от безобидной ритмичной игры во мне вырастает томительный и мучительный восторг. И вот когда температура моего котла подобралась к красной черте, и он готов был взорваться, Ирен сделала то, от чего я чуть не сгорел со стыда. Захваченный врасплох, я дергался, сотрясаемый редким сочетанием восторга и негодования.

Разумеется, она ждала от меня благодарности. Вместо этого я отвернулся, отделился от нее одеялом и замолчал. То, что она сделала, было нечестно. Она не должна была этого делать. Она осквернила себя и оскорбила мою щепетильность. Почувствовав неладное, Ирен забеспокоилась:

"Ну, Юрочка, ну, ты чего, а? Тебе не понравилось, да? Но почему? Ведь ты же меня целуешь, а чем ты хуже? Ну, Юрочка! Ну, Ю-ю-юрочка, ну, ми-и-ленький, ну, не молчи! Ах, так? Ну, и ладно!"

В ту ночь я спал на диване. Утром она принялась тихонько плакать, и мы помирились.

"Никогда больше так не делай" – строго сказал я и с ужасом обнаружил, что внутри меня включился счетчик ее недостатков.

А еще через два дня наш староста – ефрейтор запаса, заядлый курильщик и моралист, сурово заметил, что меня часто видят с одной девицей из общаги. Вместо того чтобы назвать ее моей невестой, я принял беспечный вид и смалодушничал: "Так она же в сборной факультета! Вот и пересекаемся на тренировках!" "Имей в виду, она еще та шалава!" – счел нужным известить меня старший товарищ. Подо мной с тошным хрустом подломился железобетонный мост. "Откуда ты знаешь?" – прокричал я на пути к пропасти, чувствуя, как мои внутренности собираются покинуть меня через горло. "В общаге всё про всех известно" – был ответ. Один его знакомый пятикурсник гулял с ней пару лет назад. Говорил, что был у нее не первый и не последний, и что у нее в комнате все такие же шалавы – сообщил заботливый товарищ, не обращая внимания на грохот, с каким мое тело рухнуло на дно безнадежно глубокого ущелья.

Вечером я, как всегда встретился с Ирен в метро.

"Пойдем, что же ты!" – затормошила она меня, когда я вместо того чтобы подставить ей локоть, отошел к стенке и встал.

"Подожди, поговорить надо..." – отводя глаза, выдавил я.

"Что случилось?" – тревожно спросила Ирен.

Я молчал, не зная, как начать.

"Слушай, – наконец сказал я, – зачем ты меня обманула? Ведь у тебя же было много парней..."

У нее с лица схлынула кровь. Спрятав руки за спину, она отвернулась и принялась, как когда-то Натали, втаптывать в пол носок туфли.

"Значит, все-таки донесли... – наконец повернула она ко мне перекошенное бессильной усмешкой лицо. – А я все ждала, когда тебе доложат..."

Я молчал. Все было слишком очевидно: я подобрал зажигалку, от которой до меня всюду прикуривали другие. А это значит, что все ее приемы и озарения были частью богатого опыта, а вовсе не любовным творчеством и подсказками соседок по комнате. И то что она сделала два дня назад, она делала и раньше. Думать об этом было невыносимо, не думать – невозможно.

"У меня к тебе просьба – привези мне завтра вещи..." – произнесла она помертвелыми губами.

"Хорошо" – выдохнул я.

"Пока..." – прошептала она, повернулась и стремительно ушла.

Утром я собрал все до последней ленточки, не оставив себе на память даже заколки. Приехав в общагу, зашел в знакомую комнату, где в тот момент никого кроме нее не было. Ирен выглядела ужасно. Нет, нет, она была, как всегда ухожена, где надо припудрена, затушевана и напوماжена, только вот вместо глаз – две пустые глазницы. Там, где раньше плескались солнечные блики – два пересохших озера с черными берегами и бурым дном.

"Вот, я привез..."

"Спасибо... Чаю хочешь?"

"Нет, спасибо..."

Говорить больше было не о чем, и мы, отводя глаза, неловко и недолго помолчали.

"Поцелуй меня на прощанье..." – попросила она и закрыла неживые глаза. Я вяло и невыразительно ее поцеловал. Она отвернулась и отошла к окну.

"Все, уходи..." – донесся до меня шелест ее губ.

И я ушел.

Ирен. Послесловие

Переведем дух и спросим себя: позволено ли богине лгать? Древние считали, что не только позволено, но и положено. Я же считаю, что не позволено и не положено. Любовь шепетильна, но губит ее не минет, а ложь. Доверие – вот тот стержень, что скрепляет отношения двух абсолютно разных людей. Извлеките его, и они разрушатся, как рушится музыкальная конструкция, из которой удалили главную тему.

Таковы общие, со вкусом горькой истины места, известные всем и каждому. Именно ими врачевал я весь июнь мою рану. Потом был стройотряд: мускулистое, потное, цинично-забористое мужское братство, кислое вино с липкими конфетами и донжуановы байки на ночь глядя. Интересно, женщины обсуждают мужчин так же похабно, как и мужчины женщин? Были гитара, костер и коллективный транс – советская школа пламенных чувств. Было серебряное подстрекательство деревенской луны и вялая интрижка с молодой поклонницей моего трехаккордового таланта. И когда я в прозрачной, сотканной из лунного света и соловьиных трелей темноте колхозного сада попытался запустить руку в ее потайные места, и они меня не приняли, я был даже рад: изображать после этого влюбленного, так же как и прятаться от вопрошающих глаз было бы выше моих сил. Словом, мир представлялся таким простым и предсказуемым, что на него без горького смеха и смотреть-то было невозможно.

В августе меня одолело неясное беспокойство: я словно пытался вспомнить, где и когда потерял нечто чрезвычайно важное. К концу августа вспомнил, и стало ясно, что без Ирен мне не жить. Вернувшись в Москву, я на следующий же день отправился в общежитие. В крайнем волнении постучал в знакомую дверь, и две певучие сирены в один голос разрешили мне войти. Открыв дверь, я увидел Ирен и одну из ее подруг.

"О-о, кто к нам пришел!" – пропела, как ни в чем ни бывало, сирена Ирена. Без следов былой разрухи, свежая, подтянутая, любопытствующая.

"Иди-ка, Катенька, погуляй полчаса!" – велела она подруге, и та послушно удалилась.

Ирен пригласила меня сесть и предложила чай. Не желая тратить отведенные мне полчаса на ерунду, я отрицательно мотнул головой.

"Ну?" – с бесчувственным любопытством поглядела на меня Ирен, и я сказал, что пришел просить прощенья.

"За что?" – притворно округлились ее глаза.

Я выразительно на нее посмотрел. Дескать, сама знаешь. Нет, не знаю, усмехались глаза напротив.

"Ну, тогда, в метро... И потом..." – проямлил я.

"А-а, это! – как бы вспомнила Ирен. – Ерунда, забудь!"

"То есть, ты не сердись, и мы можем начать все сначала?" – обрадовался я.

"Не сержусь, но сначала начать уже не получится"

"Почему?"

"Один хороший человек меня замуж зовет..."

"Так ведь я тоже зову!"

"Да? Только знаешь, какая между вами разница?"

"Какая?"

"Ему плевать, с кем я до него гуляла!"

"Так и мне плевать!" – воскликнул я, умоляюще глядя на нее.

"Поздно, Юрочка, теперь уже поздно, – вдруг потухло ее лицо. – Всё, кончилась наша любовь. И пожалуйста, больше сюда не приходи"

Мир внезапно дрогнул и насквозь промок. Я отвернулся и с минуту сидел так, пока слезы не высохли.

"Ладно, извини..." – сказал я и с шумом отодвинул стул. Ирен встала вслед за мной. Я развернулся и шагнул к двери.

"Подожди" – остановила меня Ирен.

Я круто обернулся и взглянул на нее, готовый броситься к ней по первому же знаку.

"Не хочу, чтобы ты обо мне плохо думал..." – смотрела она на меня.

"Ириша, да я никогда..." – рванулся я к ней.

"Нет, стой! – вытянула она мне навстречу руки. Я застыл на месте. – В общем, тогда, в мае... Ну, ты еще обиделся..." – покраснела она.

"Прости, это я по глупости!" – смотрел я на нее во все глаза.

"Так вот знай, что я никогда раньше этого не делала и никогда больше не сделаю..."

Она хотела сказать что-то еще, но передумала и, отведя глаза, строго уронила:

"Все. Уходи..."

"Ириша, не гони!" – взмолился я.

"Уходи!!" – со злым отчаянием выкрикнула она.

Я замер, как от пощечины и, помедлив, уполз на непослушных ногах прочь.

У нее началась преддипломная практика, и в спортзале она больше не появлялась. Несколько раз я видел ее в институте, но подойти к ней так и не решился. Через два месяца она вышла замуж за преподавателя. Мне показали его – лысоватый, очкастый, коренастый, в обнимку с портфелем – он двигался так, словно от счастья не чуял под собой ног. Два чувства испытал я, глядя на него – беспомощное злорадство и черную зависть. Не утешало даже то, что скатившись с Олимпа в Тартар, я очутился там в одной компании с сердобольным Кроносом и другими половыми титанами не мне чета.

Итак, подшив с бухгалтерской скрупулезностью первичные документы памяти, подвожу бесчувственный баланс.

Самобытность Ирен для моего взросления заключалась в первую очередь в ее искушенности и бескорыстном желании избавить меня от моей неопытности. Как важно, чтобы такая женщина рано или поздно появилась в жизни мужчины! Пока она отсутствует, его история будет хромой и однобокой. В моем аккорде Ирен занимает почетное место чувственной большой терции, придавая его нижним интервалам полновесно радостное, несмотря ни на что, звучание. С ее появлением окончательно сформировался ми-бемоль мажорный лад моей юности. Всё дальнейшее есть его отрицание, и попытки вернуться к нему будут мучительными и бесплодными.

Софи

1

Мой неудачный роман с Ирен лишь подтвердил пугающую закономерность, что проявилась в трех моих предыдущих любовных историях, а именно: все они были прерваны злым духом постороннего вмешательства. А может, дух был добрый, и все мои истории были лишь эскизами, из которых художник собирался создать полноценную картину? Ведь жизнь избавляет нас от иллюзий, а искусство их возвращает...

Оставим сердцу отходную молитву:

"Благословенная Венера, эрогенная и эректогенная вдохновительница любовного безумия! Да будет свято имя твое! Да будешь ты сиять в сердцах наших во все времена! Да коснется

нас твоя милость, да снизойдет на нас твое благоволение! Введи в искушение рабов твоих, лиши их воли противиться тебе, дай им радость любить и возвысь до небес. Ибо твоя есть сила и слава во веки веков. *Let it be.*

Воистину не устану прославлять тебя, светлую и непогрешимую. Нет более почести, чем быть тобой обласканной, нет выше славы, чем служить тебе. Ты одна противостояшь злу, ты одна восстаешь против смерти, и за это мы величаем тебя.

Прими назад мою любовь к Ирен, ибо нет ей более места в моем сердце. Каюсь: не хватило мне силы духа, ни мудрости сберечь и приумножить твой дар. Прости мне мою неразумность и самонадеянность и дай мне взамен что-нибудь рациональное и предсказуемое.

Прости Ирен ее неразборчивое рвение, прости ее неумеренную тебе услужливость. Прости ее, как прощаю я, и в утешение щедро одари материнской любовью к чадам ее. Да будет так"

Оставим отходную сердцу, а памятью вернемся в осень восемьдесят первого.

Отныне прекрасная половина человечества поделилась для меня пополам: на одной стороне девушки с историей, как Ирен и Натали, на другой – девушки для истории, как Нина и Люси. В употребление годились и те, и другие, но само употребление было теперь регламентировано их предназначением. Первой половине в любви впредь было отказано, а сердцу велено серьезных отношений с ними не затевать. Интрижка и флирт – вот все, что они заслуживали. Постель и эрзац чувств – вот участь, на которую они обречены. Во вторую половину предстояло влюбиться и выбрать там жену. Налицо крепнущие признаки разборчивости.

В сентябре, как я уже сказал, Ирен указала мне на дверь. Я подчинился, и гулкое эхо расставания еще долго бродило по опустевшим коридорам моего сердца. Ситуации абсурднее трудно себе представить: моему свежему неутомимому телу шел двадцать первый год, мои гормональные цистерны были переполнены, моему квартету рукоплескали поклонницы, неистовые болельщицы на трибунах кричали "Давай, Юра, давай!", а я изводил себя грустным одиночеством. Иногда некий квартировавший внутри доброжелатель пытался меня сосватать. "Ты посмотри, какая прелесть!" – вкрадчиво шептал он, указывая на эмансипированную, богемного вида девицу, призывно взиравшую на меня из зала. "Да, конечно, но, к сожалению, она курит..." – притворно вздыхало мое сердце. Я и по сей день отношусь к курящей женщине, как к участнице некоего всемирного заговора – тайного и небезобидного. Женщина должна пахнуть цветами, а не табаком и участвовать только в заговоре любви, считал и считаю я.

Вечером седьмого ноября мы собрались на квартире нашей однокурсницы. Не знаю, как вы, а я, приходя в компанию, первым делом люблюсь женщинами. Без сомнения, у каждой из них есть личная фея, потому что самые изощренные праздничные уловки еще нужно одухотворить. В такие минуты святятся новым светом даже знакомые девушки, а незнакомых я попросту поедаю глазами, словно аппетитное экзотическое блюдо. Отсюда тот неожиданный и неудержимый интерес, который возбудила во мне неизвестная молодая особа, представленная хозяйкой, как ее лучшая подруга.

"София. Можно просто Соня..." – с протокольной вежливостью сообщила незнакомка.

Она и в самом деле заслуживала того, чтобы смотреть на нее во все глаза. Облик ее с пугающей полнотой и точностью удовлетворял всем требованиям моего привередливого вкуса. К тому же смущала ее схожесть с Валькой, ранее уже одобренной приемной комиссией моего сердца. Бледное тонкое лицо и укрощенные заколками роскошные агатовые волосы. Кажется, лишилась она своего строгого, украшенного двумя нитками матового жемчуга платья, и они могли бы прикрыть ее наготу. Не волосы, а красиво упакованная шелковая мантия. Незнакомка вдруг отделилась от цветных говорящих пятен и затмила их своей лаконичной черно-белой красотой. Ощувив беспокойные покалывания в разных частях моего защитного поля, я занервничал и, натянув маску компанейского парня, растворился в веселом застолье.

Рюмка, другая, слово направо, слово налево, улыбка туда, улыбка сюда – вы же знаете, как это бывает в молодости. Все говорят, у всех сильные, звонкие голоса, и тот, кто хочет, чтобы

его слышали, должен кричать. И вот уже кричат все. Софи сидит на другом берегу квадратного клетчатого озера, затянутого круглыми листьями испачканных тарелок – сидит, непринужденно отведя прямые плечики и снисходительно отбиваясь от назойливого внимания нашего старосты. Ее изящные кисти порхают на уровне груди, ее сочные губы беззвучно трепещут, пытаюсь ему что-то объяснить. Наконец все в изнеможении кричат: "Юрка, давай за фано!", и я, успев поймать любопытный взгляд, брошенный в меня двумя большими метательными орудиями, направляюсь к инструменту.

У нас замечательная группа – другой такой нет. У нас содержательные традиции, которым мы до сих пор следуем, собираясь раз в году. Мы любим петь, мы поем, мы будем петь, и всякий раз наш сводный цыганский хор распевается громоподобным величанием самому себе: *"Пушкой погибну безвозвратно..."* Я сопровождаю наш молодой, неистовый рев параллельными аккордами, и тут уж все, в том числе и лишенные слуха не могут не признать, что это хорошо. Вместо того чтобы держаться со снисходительной невозмутимостью заправского тапера, я дергаюсь, подскакиваю на стуле, машу локтями, словно ощипанными крыльями и мотаю лохматой головой, спиной чувствуя устремленный на меня черно-белый взгляд. Закончив, я оборачиваюсь и вижу, что мой силуэт отделился от цветных говорящих пятен и тихим поющим удивлением уселся рядом с Софи.

Мы аплодируем сами себе. Возбужденные лица окружают меня и требуют продолжения. Мы исполняем *"Дорогой длиною, да ночью лунною..."*, *"Что-то грустно взять гитару..."* и, разумеется, *"Цыганочку"*. Мы воодушевлены, как победители, мы едины, как формула заклинания, мы верны, словно слова присяги, мы святы, как текст молитвы. Попробуй не возлюби нас в такой момент! Твой выход, дерзость! И я, призвав к тишине, пускаюсь в сольное плавание. *"Апатит твою Хибинь матер"* – хорошая прелюдия к рискованным частушкам. Я заменяю сальности испуганными синонимами, прикрываю срамные места фиговыми листками нескладухи, невинным тоном презентую похабности, презираю цензуру и упиваюсь девчоночьим повизгиванием. Я рискую, но шальное вдохновение побеждает ханжество, и убойная лексика становится законной частью поэзии. Кто там смотрит на меня со смешанным черно-белым чувством?

А теперь еще по рюмке, и танцы! Разрешите вас пригласить? Да, пожалуйста.

"Где вы учились играть?" – ангельским голосом интересуется белокрылая Софи, обдавая меня магнетическим жаром черных глаз.

"В музыкальной школе" – говорю я и мысленно благодарю музыкального бога за то, что надоумил родителей отдать меня туда, отчего я теперь интересен этой необыкновенной, неизвестно откуда взявшейся девушке. Каким шальным, бесхозным ветром занесло к нам эту жгучую красавицу?

"Я тоже играю, но мне до вас далеко" – признается Софи.

Ее лицо находится на расстоянии короткого броска моих губ, и я не могу оторвать от него глаз: тонкая белая кожа, гладкий высокий лоб, ровные, сухие, с нежным розовым отливом щеки. Я держу в руках самый свежий и совершенный продукт ближневосточной цивилизации, известной мне ранее экономическими показателями, а теперь вот воплотившейся в породистый образец бесприютной, чужеродной, предосудительной красоты. Вечная Суламифь на праздновании годовщины Великого Октября. *"Прекрасны в подвесках щеки твои, в ожерельях – шея твоя! Глаза твои – голуби. Волосы твои как стадо коз, что сбегает с гор Гилада. Зубы твои как стадо стриженных овец, что вышли из купальни. Как алая нить – твои губы, и уста твои милы. Вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна!"* – и мне нечего добавить к тридцативековому диагнозу. Хотя изъяны, видимо, были. Иначе сейчас она находилась бы в объятиях какого-нибудь лошеного ловеласа, а не искала знакомства среди однокурсников подруги.

Софи не выдерживает моего взгляда и подставляет мне хрупкие завитки розового ушка.

"У вас замечательная компания!" – роняет она в сторону.

Она деликатна, душиста и невинна *от корней смуглых ног до пунтов волос*, а значит, я обречен на чопорное ухаживание. Неужели я смогу когда-нибудь коснуться этих крылатых, налитых пунцовым соком губ?

"А вы?" – спрашиваю я, и она сообщает, что учится на третьем курсе филфака. Отделение иностранных языков. Французский и английский. Ей нравится.

"А вы читали "Рэгтайм?" – спрашивает Софи, когда мы устраиваемся после танца в укромном месте.

"Я их не читаю, я их играю!" – отшутился я, не решаясь признаться, что понятия не имею, о чем идет речь.

"Вы, как музыкант обязательно должны прочитать этот роман! – укоризненно говорит Софи. – Если хотите, я вам его дам"

Более прозрачного приглашения к продолжению знакомства трудно себе представить.

"Спасибо, Соня! – воодушевляюсь я. – Я обязательно вам его верну, можете не сомневаться!"

И тут в наш разговор вмешивается Джо Дассэн. "Индийское лето". Привет от Люси. Ничего удивительного: после недавней смерти певца его романтическая душа вселилась во все отечественные магнитофоны. "*О чем он пел, не знаем мы совсем...*" Я встаю, приглашаю мою легкокрылую собеседницу и пружинистой игрой рук устанавливаю между нами безобидную дистанцию. Я наслаждаюсь ее осторожным любопытством и благосклонным взглядом, я ненасытной губкой впитываю черно-красную патоку ее глаз и губ. Знаменательное переживание, взволнованное удовольствие, когда новые черты, новое лицо, новая улыбка, новый голос с инфекционной бесцеремонностью устраиваются в нашей душе! В ожидании завершения инкубационного периода мне лишь остается попытаться предугадать вкус новой любви. Так было со мной всегда. И даже сегодня, с высоты моего опыта я не устаю себя спрашивать: что заставляет нас вручать сердце тому, кого не знаешь, тому, чья история загадочна, чья благосклонность всего лишь улыбочива, а намерения неисповедимы? Зачем нужно пускаться в рискованное предприятие, для чего, очертя голову, кидаться в отважную авантюру, финал которой непредсказуем? Ведь продолжение рода не требует пожизненной верности – ему достаточно кратковременного сердечного займа, каким являются брачные танцы у животных или медовый месяц у людей! К чему это фундаментальное ощущение праздника, это чувство бессрочного ликования, эти основательность и грузность, которыми наливается пустая душа, чтобы погрузиться на самое дно блаженства?

Софи разрешает себя проводить, и мы отправляемся в соседний двор, но не кратчайшим путем, а кругосветным – то есть, огибаем земной шар и попадаем туда с другой стороны. Нас сопровождают Дюрренматт, Сартр, Ионеско, Кафка, Сэлинджер, Умберто Эко, Воннегут, Теннеси Уильямс, Артур Хейли, Франсуаза Саган, Ирвин Шоу, Джойс, Базен, Гессе, Кэндзабуро Оэ, Олдридж, Фаулз и прочие малознакомые мне постояльцы журнала "Иностранная литература", до которых так охоча Софи, и с которыми отныне придется иметь дело и мне. Описав окружность радиусом не менее километра и незаметно перейдя на "ты", мы останавливаемся у ее подъезда и договариваемся встретиться завтра на этом же месте в два часа дня.

Я смотрю на Софи, и мне кажется, что мы знакомы сто лет.

2

Основательному русскому человеку мало влюбиться – ему нужно до смерти полюбить.

В отличие от Ирен, культурные и умственные достоинства которой находились в тени ее сексуальности, Софи представлялась мне безмятежной и прекрасной *terra incognita*, чьи богатые ресурсы следовало освоить и обратить себе на пользу. Гуманитарная начинка моей новой возлюбленной делала наш процесс сближения не только волнующим, но и чрезвычайно полез-

ным, и его когнитивность (светлая сторона) надежно прикрывала собой его темную сторону (физическое влечение).

О чем мы, студенты двух элитных московских вузов, могли говорить? Ну, разумеется, не о тенденциях развития мировой экономики. Возвышенное состояние душ требует возвышенных тем, и в этом смысле Софи оказалась в более выгодном положении. Грандиозные прорехи в моей начитанности открылись ей в первый же день. За плечами у меня, как и у большинства советских людей, была школьная программа и случайные книги из числа модных, прочитанных невнимательно и наспех. Более того, не придавая литературе особого значения, я сторонился умников, щеголявших звонкими иноземными именами и глубокомысленными цитатами, а если доводилось вступать с ними в спор, то переждав их самоуверенный напор, я объявлял, что музыка превыше слов, чем, сам того не ведая, подтверждал мнение несчастного Верлена: *"Музыка прежде всего..."*. Но одно дело – давать отпор псевдоинтеллектуалам, и совсем другое – внимать очаровательному, нежному созданию.

Когда на следующий день мы встретились, она сказала:

"Я подумала, что "Регтайм" будет для тебя пока тяжеловат. Вот, возьми лучше Сэлинджера и начни с него..." – после чего по ее настоянию мы отправились смотреть "Христос остановился в Эболи". Лично я предпочел бы "Удар головой" или "Три дня "Кондора", однако всё, что мне тогда было нужно – это пребывать рядом с Софи, изнывая от переполнявших меня чувств. В таком состоянии всё, что вы ни скажете друг другу, обретает скрытое и волнующее значение. Можно обсуждать фасад или угол здания, фонарь или автобусную остановку, не говоря про ранний мокрый снег, от которого так хорошо прятаться в кафе. Ах, какие у нее полбединому изящные кисти рук, и как красиво и непринужденно она поедает облитое малиновым сиропом крем-брюле! Какое тонкое и одухотворенное у нее лицо, и как трогательно она облизывает пухлые, сладкие губы! Она хочет, чтобы я полюбил литературу и поэзию? Что ж, ей в свою очередь придется полюбить баскетбол и джаз. Через два дня у меня игра, и я тебя приглашаю. А в начале следующей недели прошу на репетицию джаз-квартета. Сейчас мы вместе с вокальной женской группой готовим программу для новогоднего вечера. Пойдешь? Тогда я за тобой зайду.

Раньше Софи появится у меня на игре и на репетиции, чем я прочитаю "Над пропастью во ржи". И она была тут и там, и после этого в глазах ее зажегся теплый улыбочивый огонек.

"Устал?" – заботливо спросила она меня после игры.

"В вашей вокальной группе очень даже симпатичные девочки!" – стараясь выглядеть непринужденно, сообщила она после репетиции.

Наконец я одолел Сэлинджера, о чем и сообщил моей прекрасной наставнице.

"Ну и как?" – с любопытством спросила она.

Я помялся и сказал:

"Может я чего-то не понимаю, но, по-моему, такую галиматью мог бы сочинить и я..."

Софи рассмеялась:

"Ты знаешь, мне и самой этот роман не нравится – ну, ни капельки! История зауряднейшая! Видимо, у них там подростковая тема актуальна, только к чему демонизировать проблемы переходного возраста? Кроме того, язык просто ужасный – ну, просто ужасный! Ни малейшего намека на художественность! Так что ты абсолютно прав – это роман для невзыскательного читателя!"

Сегодня я скажу еще сильнее: этот роман похож на побывавший в смертельной аварии и не подлежащий восстановлению автомобиль.

После Сэлинджера Софи вручила мне "Завтрак для чемпионов" Воннегута, который я через два дня вернул ей со словами:

"Делай со мной что хочешь, но я это читать не в силах!"

Она улыбнулась и выдала мне "Вечер в Византии".

"Это должно тебе понравиться..." – ободряюще улыбнулась она, и я вместе с приятными ожиданиями был перемещен романом на юг Франции.

Вначале там было упомянуто индейское лето, и оно напомнило мне о Люси. Не слишком ли часты эти напоминания? Может, песня Джо Дассэна родом с Лазурного берега? Хотя "золотистая дымка, неяркие осенние цветы" – такое можно видеть где угодно. Замечательные, должно быть, места! Море там пенится и бурлит под балконом, и купаться можно прямо напротив отеля. Интересно, какое оно, Средиземноморье – арена чуждых нам страстей?

"Девушка стояла, шевеля большими пальцами босых ног в сандалиях", и я вспомнил носки туфель Натали и Ирен, оживавших в минуты волнения их хозяек.

Вудсток, хиппи, наркотики, свободная любовь, публичные половые акты, американское матерное слово, исторгнутое во всё стадионово горло – таковы их нравы.

Жена героя – шлюха, и все-таки он ее любит. Оказывается, нет браков без изъяна, и каждый из партнеров должен чем-то поступаться. Весьма оригинальные представления о семейной жизни! Нет, это не для нас. Такое может быть только у них.

Герой пишет пьесу и в число персонажей включает девятнадцатилетнего внука, одержимого первой любовью к девице на три года старше его. Значит, мы с Ирен всего лишь персонажи чьей-то пьесы?

"Он сказал Констанс «Я люблю тебя» и сказал Гейл «Я люблю тебя» – и в обоих случаях говорил правду. Возможно, слова эти относились и к той, и к другой одновременно". И я бы понял героя, если бы первое признание от второго не отделял всего лишь день.

И так далее. Словом, чуждые нам нравы и пороки буржуазного общества – такие отвратительные и такие притягательные. Непривычный, больной мир банковских счетов, квитанций и чековых книжек, где мои ровесницы влюбляются в больных стариков, а больные старики спят с моими ровесницами. Стакан виски здесь, стакан там, случайные связи, одноразовая любовь, финансовые проблемы, престранные отношения, и как результат – необъяснимая тяга к саморазрушению. Они что там у себя в Америке, действительно так живут?

"Когда мне будет сорок восемь, я непременно должен перечитать эту книгу!" – сказал я себе и, представьте, перечитал! Правда, не в сорок восемь, а в пятьдесят. К тому времени я побывал во многих странах, в том числе и на Лазурном берегу, попытался приспособиться к заскорузлой расчетливости западных обывателей, попробовал восхищаться их улыбчивым, уважительным эгоизмом, проникся их нравами, пока не переварил их хваленое изобилие и не переболел собственным благополучием. Скажу только, что такие романы нужно читать в двадцать лет, потому что к пятидесяти они выдыхаются, как незакупоренное вино. К тому же мое былое почтение к литературе с тех пор изрядно поизносилось. Сегодня я спрашиваю себя: для чего пишутся книги? Зачем эти выдуманные герои с их вычурными страданиями? Для чего эти бесплотные художественные образы, что витают над нашим здравомыслием, как косноязычные духи над спиритическим столом? Короче говоря, роман откликнулся умирающим эхом, да с тем и почил. Одно смущает: герой романа, не внявший категорическому совету врача бросить пить, тем не менее, все еще жив, и *"никогда еще виски не казалось ему таким приятным на вкус"*.

Возвращая роман, я сказал:

"Понравилось, только у меня такое впечатление, что они там у себя целый день хлещут виски, а между делом обсуждают дела и занимаются любовью!"

И тогда Софи вздохнула и вручила мне "Регтайм".

3

Я читал роман три дня. Читал в электричке, в метро, в перерывах между лекциями, вечером и далеко за полночь. Читал, разгребая нагромождения слов и увлекаясь скрытым в них

очарованием, до которого мой вкус явно не дотягивал. Прочитав, я тихо, словно крышку рояля, закрыл журнал и прислушался к остывающим струнам строк. Впечатление было слишком звучным и навязчивым, чтобы отвязаться от него двумя словами. Скажу так: автору удалось передать технику рэгтайма, при которой пальцы отскакивают от клавиш, как от горячей плиты. Впечатлил ритмичный аккомпанемент коротких звонких фраз и синкопированное изобилие движения и красок.

Роман сыграл со мной злую шутку: если до него я не допускал и мысли о постели, считая ее оскорбительной для утонченной красоты Софи, то теперь она проникла в меня и будоражила по ночам мое сонное воображение. Странное дело, но во всех женских персонажах, даже в молоденькой негритянке, даже в пропахшей рыбой эскимоске мне чудилась Софи. В таком вот томительном эротическом состоянии я и предстал перед ней холодным декабрьским вечером.

"Ну как?" – испытующе взглянула она на меня, когда я протянул ей журналы.

"Да, сегрегация – страшная вещь!" – бодро отвечал я.

"И все?"

"Нет, ну там, конечно, много еще чего... Например, откровенные сцены..." – поглядел я на Софи, ожидая, что она смутится и ответит взгляд. Но нет, Софи не покраснела, а взглянув на меня с оттенком жалости, предложила:

"Пойдем где-нибудь посидим..."

И мы направились в кафе-мороженое. Устроившись за столиком, Софи достала журналы и положила перед собой.

"Давай-ка я тебе кое-что объясню, – уставившись на меня своими черными глазами, мягко начала она. – Понимаешь, среди прозаиков есть рассказчики, и есть художники. И если раньше ты имел дело с рассказчиками, то в данном случае мы имеем счастливое и редкое сочетание того и другого. Для таких писателей слова – это краски, воображение – кисть, а замысел – полотно. Вот смотри, – открыла она журнал в нужном месте, – вот здесь, прямо с самого начала: *"Тяжелая нудноватая угроза холодно поблескивала на скалах и мелях Новой Англии. Необъяснимые кораблекрушения, смелые спасательные буксировки. Странноватые дела на маяках и в лачугах, гнездящихся в прибрежных сливовых зарослях. По всей Америке открыто гуляли секс и смерть. Женщины очертя голову умирали в ознобе экстаза. Богатеи подкупили репортеров, чтобы скрыть свои делишки. Журналы надо было читать между строк, что и делалось"*. Видишь, как необычно и выразительно? Всего несколько строк, и ты ощущаешь вкус эпохи. Вот смотри, еще: расплескались аплодисменты... пассажирские лайнеры трубили в свои басовитые горны... ветер крепчал, и небо затягивалось, и великий океан начал метаться и разламываться, являя на свет божий вздымающиеся плиты гранита и скользящие террасы сланца... Чувствуешь разницу с предыдущими романами? Сейчас я тебе кое-что процитирую, а ты постарайся вникнуть"

И Софи с удивительным проворством принялась листать страницы, с ходу попадая в нужные места и выдергивая оттуда женский профиль, который словно новое созвездие отчеканился в ночном небе, бесценные перья над кучей женских волос, веревки жемчугов, что раскачивались на шее и бились на грудях, и остроумие, лопавшееся на губах, подобно пузырям эпилептика. Там обещаниями взлетали из-под стогов краснокрылые скворцы и глаза выделяли влагу счастья, там мальчик смотрел, как его мама выходит из пятнистой колеблющейся тени кленов и как ее золотые волосы, кучей собранные на голове в непринужденном стиле ежедневного невроза, вспыхивают словно солнце. Дикие штормы там срывали камни с утесов, и ветры свистели бешеным бандитом, а вокруг царил опустошающий холод. Там полная луна появлялась в голубом небе и огромные ледяные бедра земли вздрагивали и вздымались к ней. Там глаза с голубыми, желтыми и зелеными пятнами напоминали раскраску школьного глобуса.

"Он угостил ее несколькими банкнотами из своего бумажника" – прочитала Софи, и я тут же вспомнил скабрезный эпизод, из которого она извлекла эту фразу. Ну да, было тут что-то

необычное и непривычное, но оно не восхищало меня, а скорее, беспокоило: так эксперименты Сесилия Тейлора заставляют морщиться поклонника Баха.

"А вот здесь, смотри, смотри! – с воодушевлением воскликнула Софи и прочитала почти с нежностью: – *"Вдруг – толчок, и Гудини ощутил, что чувствительные крылья как бы обрели собственное самосознание, словно бы нечто сверхъестественное внезапно присоединилось к его предприятию..."* Представляешь – крылья обрели собственное самосознание! – блестяла глазами Софи. – Можно ли точнее передать момент отрыва от земли?! Вот это и есть настоящая литература! Слушай дальше!"

А дальше длинные руки лежали на ручках кресла, будто сломанные в запястье, и маленькие чистые аккорды повисали в воздухе, как цветы, а мелодии складывались в букеты. В холодных роскошных закатах тени ложились на большие ступени, вода становилась черной, плиты мостовой – розовыми и коричневыми, луна гналась за поездом, и лунный свет мог согреть лицо, мрак и пустота с неслыханной наглостью колыхались возле бровей, и ощущалось засасывающее кружение пустоты. Выборные кампании прохлестывали взад-вперед через всю страну, вздувая в толпах надежды и уподобляясь ветрам, что ерошат великие прерии...

"Ну и так далее! Короче говоря, этот роман хорош тем, что в нем живет поэзия! – подвела черту Софи и обратила на меня победный взгляд – дескать, вот что и как надо читать. – Только не думай, что я хвалю этот роман, потому что его написал еврей"

"Причем тут еврей?" – искренне удивился я.

"Но я ведь тоже еврейка..."

"А я русский! – с вызовом воскликнул я.

"Да, ты русский..." – погрустнела Софи.

"Сонечка, ну причем тут это? – загорячился я. – Ты – еврейка, я – русский, а Луи Армстронг – негр! Так что же, я теперь не должен любить ни тебя, ни Луи Армстронга?"

Софи быстро на меня взглянула и опустила ресницы. Щеки ее зарделись.

"Да, я же не сказала самого главного! – спохватилась вдруг она. – В романе есть любопытное замечание. Вот послушай: *"Он (дед) читал внуку наизусть куски из Овидия. Это были истории о людях, превратившихся в животных, деревья или статуи. Истории метаморфоз. Женщины оборачивались подсолнухами, пауками, летучими мышами, птицами; мужчины становились змеями, свиньями, камнями и даже «легкими дуновеньями».* Так вот: эта мысль Овидия лежит в основе поэзии. Я не знаю, могут ли мужчины оборачиваться змеями, а женщины подсолнухами, но есть вещи и есть слова, и если вещи мы смешать не можем, то можем смешать слова и на словах обратить кого угодно во что угодно. Вот, послушай"

И чаруя черным пламенем очей, забормотала нараспев:

Сусальным золотом горят

В лесах рождественские елки...

И далее в том же духе. Я заворуженно смотрел на блестящий шарик стихотворения, что раскачивался передо мной, словно елочная игрушка.

"Ну как?" – оборвала гипноз Софи.

Да, у нее определенно был свой подход. И терпение. Наверное, их этому учат. Ведь как аккуратно и ненавязчиво она подвела меня к стихам! Начни она с них в первую нашу встречу – и подозрение в манерности вместе с предвзятым мнением о поэзии было бы ей обеспечено.

"Здорово!" – искренне откликнулся я.

"Это ранний Мандельштам. А вот еще"

Передо мною волны моря.

Их много. Им немислим счет.

Их тьма. Они шумят в миноре.

Прибой, как вафли, их печет...

"Это Пастернак. А вот Бродский..."

*Осень. Оголенность тополей
раздвигает коридор аллеи
в нашем не-имении. Ставни бьются
друг о друга. Туч невпоровот,
солнце забуксует. У ворот
лужа, как расколотое блюдо...*

"Нет, правда, здорово!" – гляжу я на нее во все глаза.

"Пастернак, Мандельштам, Бродский – вот настоящие поэты!" – с воодушевлением восклицает Софи.

"А Пушкин, а Есенин, а Маяковский?" – робко вставляю я.

"Ну да, ну да, они тоже... – снисходительно соглашается Софи. – В общем, как говорил Кропоткин: *"Читайте поэзию: от нее человек становится лучше"*.

С тех пор я читаю поэзию, но лучше определенно не стал.

Между прочим, после этого разговора я решил, что Софи должна вести себя в постели также целомудренно, как Мать Малыша. То есть, закрывать глаза и зажимать уши.

4

Рискну утверждать, что главным приобретением тех, кто заканчивал вуз при советской власти, являлась не специальность, а так называемое общее развитие с его приобщением к культурным и культовым ценностям. Широкий кругозор, историческая ангажированность, политическая благонадежность, масштаб и смелость суждений – вот визитная карточка советского студента. Именно эти качества отсутствуют у его нынешних собратьев. Притом что информация сегодня доступнее, чем женщина легкого поведения, их убеждениям не хватает универсального фундамента, каким был для нас пресловутый марксизм-ленинизм. Их религия – легкий и быстрый успех, их убежище – прикольный плюрализм, их мировоззрение и шатко, и валко, а суждения не превосходят границ здравого смысла. В том числе и в делах, где замешан еврейский вопрос. "Причем тут еврейский вопрос? – спросите вы. – Ведь мы же договорились: только любовь!" Да, договорились. Но в случае с Софи это любовь, освещенная и освященная еврейским вопросом.

...То были до чопорности интеллигентные, культурные, лишенные чувственной свободы отношения – полная противоположность тем, что связывали меня с Натали, Ирен и отчасти с Люси. Наверное, со стороны мы напоминали церемонных посетителей музея, где каждый из нас по очереди был то гидом, то слушателем. При встрече мы с тонкой, понимающей улыбкой перекидывались репликами, пока не нащупывали тему. Были четыре утопанных площадки, на которых я чувствовал себя достаточно уверенно: экономика, музыка, спорт и любовь. В остальных случаях я, ища подтверждение своему мнению, обращал взгляд на Софи. Надо сказать, что при всём ее раннем, обширном и глубоком развитии, она была скромна и деликатна. В отличие от ее бойких, претенциозных соплеменниц (мое позднее наблюдение) у нее не было готовых рецептов на все случаи жизни и чаще всего она, подумав, мягко говорила: "Не знаю, но мне кажется..." И это выглядело ужасно симпатично. Женщина, даже еврейка, не должна быть безапелляционной.

Софи начинала свою партию сдержанно, но затем увлекалась, и лицо ее озарялось перламутрово-розовым сиянием. Я любовался ею с особым, бесполом чувством, не представляя, как можно запятнать ее возвышенное воодушевление пошлым поцелуем. Впервые женская красота не искала уступок у моего вкуса, а напротив, ставила ему себя в пример. Прекрасная Софи, драгоценная Софи, я с нарастающим удовольствием погружался в ее утонченный мир, где отделившиеся от вещей слова жили собственной жизнью, а их неожиданные значения ста-

новились кирпичиками невиданных миров! Можно сказать, выгодой от новой любви я покрывал убытки всех предыдущих.

За неделю до Нового года Софи повела меня в гости к своей однокурснице. На смотрины, как я потом понял. К тому времени я прочитал "Немного солнца в холодной воде" Франсуазы Саган, "Портрет художника в молодости" Джойса, "Давай поженимся" Апдайка и заканчивал "Башню из черного дерева" Фаулза. Там, куда мы пришли, я обнаружил семь нарядных ироничных барышень и трех снисходительных, острых на язык парней, которым богемная фамильярность была к лицу. Как известно, в стране в то время царил культ печатного слова, и советские филологи были его истовыми жрецами. Компания встретила меня любопытными, оценивающими взглядами. Я почувствовал себя неуютно, но заметив в гостиной пианино, успокоился: последнее слово будет за мной.

Хорошо филологам – для них всякое застолье есть праздник языка. После трех изысканных тостов, соединенных сосредоточенным звяканьем ножей и вилок, завязалась беседа. Пробные реплики подобно звукам настраивающегося оркестра цеплялись друг за друга, пока не вылились в единую мелодию: будущие переводчики внезапно, дружно и естественно заговорили о переводах. Встала одна из барышень – живые глазки, носик уточкой – и с энтузиазмом объявила:

"Вот, послушайте, что я нарыла! "Летняя луна" называется!"

*А знаешь ли, что ты сама, царица ночи,
Однажды прекратишь сиять с небес ночных?
Умрешь, как род людской, что смерть себе пророчит,
И одолеет мрак простор небес немых.*

*От всех твоих красот, чей блеск богами явлен,
От роскоши лучей, заполнивших эфир
Остаться суждено лишь хаосу развалин
Что поплывут в ночи, пересекая мир! *)*

Ее отметили аплодисментами и потребовали подробности об авторе.

"Алис де Шамбрие..." – приняв загадочный вид, обронила девица.

"Кто такая, почему не знаю?" – вскинулся один из парней.

Девица выдержала паузу и с удовольствием объявила:

"Умерла сто лет назад в возрасте двадцати одного года... Можно сказать, наша ровесница..."

"Иди ты..." – удивился тот же парень. Все на некоторое время примолкли.

"Ладно, – сказал парень. – Раз уж речь о небесах, то и я туда же... Огюст Доршен, "Погасшие звезды":

*Когда вечерний час стирает, не дыша,
На море парусов мазки,
И на простор небес вступают, не спеша,
Светил несметные полки,
Не кажется ль тебе, что этот ясный свод
Как море бедами велик?
И, как суда во мгле во власти бурных вод
Там звезды гибнут каждый миг? *)*

"Браво, старик, браво! – похвалил товарища губастый сосед в очках. – А в оригинале можешь?"

"А то!" – откликнулся тот и продекламировал то же самое по-французски.

"То есть, размер один в один..." – задумчиво констатировал парень в очках.

"Естественно!"

Дальше было вот что: присутствующие по очереди отмечались поднятой рукой и читали припасенные стихи. Остальные, обратившись в слух, внимательно им внимали. Затем следовали комментарии, вопросы, уточнения. Впечатляющая, скажу я вам, демонстрация призвания и ранней зрелости. Я впервые слышал живую французскую речь. Может, далекую от совершенства, но достаточного качества, чтобы сделать вывод: мы говорим нутром, звук сидит у нас в горле, а у французов он катается во рту и отражается от неба, как от неба.

Дошла очередь до Софи, и она объявила: "Артюр Рембо, "Ощущение".

*Летним вечером в синь я пойду по тропе
Средь уколов хлебов, попирая траву:
Фантазер, подарю я прохладу стопе.
Пусть омоют ветра мне младую главу.
Буду я молчалив, мыслям ходу не дам:
Но любовь без границ вдруг наполнит меня,
И пойду, как цыган, по горам, по долам,
Сквозь Природу – блажен, словно с женичиной я... *)*

Наконец круг замкнулся, и присутствующие, включая меня, принялись аплодировать, улыбаясь и переглядываясь.

"А что же наш гость? – вдруг спросила хозяйка, и все, в том числе и Софи, уставились на меня. – Может, тоже прочитаете что-нибудь?"

Я растерялся и приготовился промямлить, что не знаю стихов, но вдруг внезапная дерзость подхватила меня: "Да ради бога!"

*Стоит милый у ворот,
Моей морду черную,
Потому что пролетел
Самолет с уборною...*
"А вот еще!"

*Говоря о планах НАТО
Не могу, друзья, без мата.
Да и вообще, друзья,
Не могу без мата я.*

Я обвел компанию глазами – все смотрели на меня прямо-таки с научным интересом, а Софи покраснела и потупилась.

"Ладно, шучу! – отступил я. – Я, вообще-то, по другой части. Если не возражаете, я сыграю..."

Отставив мизинец, я выпил мелкими глотками коньяк, что был у меня в рюмке и направился к станку.

"Расстроено" – тронув клавиши, укоризненно заметил я.

"К сожалению!" – радостно подтвердила хозяйка.

"Лорр" Эррола Паркера и "Танцующий бубен" Понса и Полла – две жемчужины моей коллекции. Именно ими я и решил угостить гордых филологов. Морщась и досадуя на лишенное слуха пианино, я принялся извлекать из его тусклого черного нутра глухие нафталиновые звуки. Уже в середине первой пьесы – яркой и энергичной вариации на тему а la Бах – кто-то позади меня обронил реплику, затем другую, и я понял, что далеко не все из тех, что прятались за моей спиной, способны были уловить мастерскую вязь мелодической линии, крепкой нитью связавшей многочисленные модуляции в единое целое. Что ж, не всем дано понимать музыку. Для этого ее надо пощупать собственными руками. У меня возникло желание оборвать игру на полуслове, но я лишь умерил пыл. Окончив играть, встал, повернулся к публике и, присев с дурашливым видом на клавиши, извлек задним местом заключительный аккорд. Есть у нас, у таперов, такой выразительный привет невежам. В ответ невежи вежливо похлопали. Разочаро-

ванный, я вернулся на место и уселся рядом с Софи, которая ободряюще мне улыбнулась. Ну и ладно: главное, что я добился своего – отделил слово от звука, а музыкантов от филологов.

Внимательному читателю уже давно пора спросить, где я брал ноты, если их у нас в то время не было и быть не могло. "Оттуда же, откуда и все советские люди. Из радиоприемника" – отвечу я. Надо было только вовремя включить зарубежный голос, записать его на магнитофон и превратить в ноты. Даром что ли у меня абсолютный слух? Ах, как жалко, что мне не дали исполнить "*Dancing tambourine*"! Вы бы сразу поняли, что это совсем не так сложно, как кажется!

"А я боялась, что ты начнешь петь эти твои ужасные частушки..." – сказала Софи во время танца.

Ее подруги рядом с ней выглядели безликими простолюдинками. Сравнить ее с ними – все равно, что унизить красивую тему бездарной импровизацией.

"Сонечка, ты здесь лучше всех!" – пробормотал я ей на ухо, успев втянуть негромкий, сладковатый запах ее волос, прежде чем она порозовела и опустила свои гордые ресницы.

Я провожаю Софи до дома. Мы входим в тускло освещенный подъезд и становимся друг напротив друга. Темно-серое пальто с норковым воротником, серая шапочка крупной вязки, светло-коричневый мохеровый шарф, бледное лицо, черное ожидание глаз. Гулкая восьмиэтажная тишина требует, чтобы ее нарушили.

"Ну все, до свидания..." – говорит Софи, не глядя на меня.

"Да, до свидания!"

"Ну, иди, иди!"

"Да, да, сейчас!"

Софи, помолчав:

"Ну, иди! Ну что же ты!"

Вместо ответа я беру ее руки в свои и, убедившись, что они не против, с великой предосторожностью подношу их к губам и дышу на пальцы. Софи делает то, что у нее получается лучше всего, то есть, краснеет и опускает глаза.

"Замерзли..." – бормочу я.

"Нет, что ты!" – быстро отвечает она.

Я медленно, со значением целую холодные невесомые пальчики и чувствую, как высоковольтное иступление покалывает мои губы. Я страшусь лишь одного: вот сейчас хлопнет чья-то дверь, и Софи отдернет руки, лишив меня неземного блаженства. Я вижу устремленный на меня неподвижный взгляд широко открытых черных глаз. "Правильно ли я понимаю..." – спрашиваю я их. "Да, правильно" – отвечают они и прячутся за черной ширмой ресниц. И тогда я, продолжая удерживать руки, благоговеино касаюсь неподвижных губ. Наш поцелуй легок, чист и непорочен и длится столько, сколько нужно, чтобы часть моей души переселилась к Софи, а часть ее души проникла в меня. Завершив обмен, Софи быстро отстраняется, смущенно улыбается, говорит "Пока!", после чего разбегается и, помогая себе крыльями, взмывает на пятый этаж. Я стою, прислушиваясь к шелестящему отзвуку ее полета.

Она так торопилась, что не захотела узнать, как я ее люблю.

5

Когда через десять лет Софи приедет в Россию и мы увидимся, она поведаст мне о метафизическом посыле нашей первой встречи.

Однажды она спросила подругу, есть ли в ее группе приличный еврей, и та ответила, что есть и не один. Нашелся повод, пришли наши жгучие красавцы евреи – Венька Карман, Ленька Мишин, Оська Фридман, Гришка Семак и сразу же стали к ней клеиться. А она вместо того, чтобы выбрать кого-то из них, увидела меня и тут же влюбилась. И это притом, что ей

с раннего детства внушалось, что русские мальчики – это плохо: шальная, видите ли, кровь, которой не место на земле обетованной.

Она долго сопротивлялась своему внезапному запретному чувству: забавлялась моим литературным невежеством, подмечала ошибки в речи, кривила губы от моих вульгарных частушек, старалась не придавать значения моим музыкальным способностям, порицала мой шумный, несдержанный характер – словом, убеждала себя, что я для нее всего лишь случайный и курьезный русский друг. А после того как мы впервые поцеловались, ее одолело такое смятение, что она несколько дней отказывалась со мной встречаться. И это было обидно и странно: будь я девушкой, которую накануне первый раз в жизни (а то, что это было именно так, не вызывало у меня ни малейшего сомнения) поцеловали, я бы не спал всю ночь, а утром сам бы искал скорых и радостных встреч.

То была неделя горячечного недоумения. Забыв, что любовь неразумна и не подвержена логике, я обращался к той, что жила в моем сердце и требовал объяснить: почему, почему, почему?? Я заклинал ее сжалиться, взывал к милосердию, мостил мольбами уходившую из-под ног душевную почву, а исчерпав запас увещеваний, уединился в мрачной келье обиды, куда не проникало это ужасное слово "зачет".

Вечером тридцатого декабря Софи позвонила и спросила, где я встречаю Новый год. Находясь к тому времени на пороге депрессии, я никого не хотел видеть, а тем более куда-то идти. Не позвони Софи и не пригласи меня в свою группу, и я провел бы праздник наедине со своей тоской.

На следующий день я, беззащитный и страждущий, ждал Софи у ее подъезда. Она вышла, быстро приблизилась ко мне, обняла, поцеловала, опешившего, и сказала глубоким, грудным, омытым слезами голосом: "Прости меня, Юрочка. Просто прости и не о чем не спрашивай". Она впервые назвала меня Юрочка, после чего взяла под руку и повела за собой на веревочке счастья. По дороге мы завалили друг друга новостями. Мы шли, переглядываясь, улыбаясь и сиянием глаз освещая наш путь. Перед тем как войти в чужой подъезд, я взял Софи за плечи, пронзительно посмотрел в ее притихшие глаза и сказал: "Сонечка, я люблю тебя до смерти...". В ответ она закрыла глаза и потянулась ко мне губами.

Эта была трогательная, сказочная, насыщенная милыми нежностями ночь. Мы как два полюса магнита, разделенные ранее пластмассовой перегородкой неловкости и чопорности, проникли друг в друга и образовали единое любовное целое. Я обнаружил на лице Софи невиданное там ранее выражение. Как будто она решила для себя что-то очень важное и сигналила об этом мятежным огоньком глаз. Теперь-то я понимаю с кем и с чем она боролась. Мы сидели рядышком, намертво повязанные моим признанием и ее тайной, и будущее казалось мне пусть и не высказанным, но ясным и решительным. Ничто так не окрыляет, как нежный взгляд любимой женщины, и я, подобно всем влюбленным, искал способ подарить ей луну. С этой целью я поглядывал на сиротливо задвинутое в угол пианино, удивляясь, как много их, разочарованных и неразыгранных, стареет, подобно старым девам, в московских квартирах. И мало кто знает, что в каждом из них бьется тихая, гулкая, слабеющая жилка музыкальной страсти. Мне бы только добраться до него, думал я, и тогда всем придется оценить и признать выбор Софи. Ибо если саксофон – совесть джаза, то фано – его душа.

Слава богу, в ту ночь обошлись без поэзии: водка сделала свое дело и превратила филологов в нормальных людей. А завелись они на "Сент-Луис блюзе", которым я, дорвавшись до симбемоль мажора, угостил их на манер Эрла Хайнса, разогрев перед этим глупыми итальянскими песенками. Сначала притопывали, потом прихлопывали, и вдруг пустились в пляс, ритмичными и энергичными конвульсиями подтверждая ту истину, что свинг и секс – близнецы-братья и пульсирующей матери-Вселенной одинаково ценны. После парни с возбужденными потными лицами хлопали меня по плечу, а девицы обмахивались крахмальными салфетками и

кричали браво. Такую отзывчивую публику, скажу я вам, редко встретишь. Но главное, что была довольна Софи.

"Все были в восторге..." – сказала она, улучив момент.

"А ты?"

"А я больше всех!" – нежно глядела на меня Софи.

"Сонечка, я играл только для тебя!" – воскликнул я.

Признайтесь: что-то подобное вы здесь уже слышали. Ну, конечно: то же самое я говорил Натали, Люси и Ирен. А слепым копированием самих себя переживания мои и вовсе похожи на дежурное блюдо! Неужели же любовь – это универсальное чувство, доступное даже тем, у кого нет ни слуха, ни голоса, ни стыда, ни совести – неужели же Любовь есть не более чем хроническое навязчивое состояние с ярко выраженными экзотическими симптомами, регулярными обострениями и неутешительным прогнозом? И чем она тогда отличается от сна, в который мы каждую ночь исправно погружаемся? А может она всего-навсего род горючего материала, способного воспламениться от любой спички, и тогда первостепенным для нас является вопрос, как экономно распорядиться ее ограниченными запасами? Так что же такое любовь – болезнь или лекарство, осложнение или ремиссия?

Следующие два месяца мы купались в тихом медоточивом счастье. Я носился с Софи, как с хрупкой, драгоценной вазой. Заботясь о ее непорочности, я стреножил в себе всё грубое и плотское, не допуская даже мысли, что с ней можно обращаться также вольно, как с предыдущими моими вазами. Глядя на нее затуманенным взором, я испытывал возвышенное умиление. Я любовался, восхищался и гордился ею. Я видел перед собой ту же, что и у Нины застенчивую гармонию тонких черт, те же большие, ясные, роковые глаза и ту же нежную, смущенную улыбку. Я целовал ее самым невинным и деликатным образом и помыслить не смел о чем-то большем. Но однажды в начале марта, перед сном, я против всех моих зарокот отпустил фантазию на волю, и передо мной предстали цветные подробности нашей будущей брачной ночи. Вот Софи неслышно входит в спальную, вот она ложится рядом, прижимается ко мне своим волшебным телом и... О нет, только не это! Я не могу, не могу надругаться над ее стыдом! Это все равно что устроить на Пасху в церкви пьяный дебош! Переведя дух, я понимаю, что пора делать предложение.

Через два дня, седьмого марта, я в назначенный час с гвоздиками в кулаке явился к подъезду Софи. Она вышла, я вручил ей цветы, прокашлялся и сказал:

"Вот, послушай, что я сочинил"

Рыба в море нерестится,

Крокодил спешит домой,

Вьет гнездо под небом птица,

Соня, будь моей женой!

"Что?" – растерялась Софи.

"Соня, будь моей женой..."

"Ты это серьезно или так... для рифмы?" – недоверчиво смотрела на меня Софи.

"Сонечка, куда уж серьезнее! – воскликнул я. – Я с этим стихотворением два дня промучился! Так ты согласна?"

Софи вспыхнула и опустила глаза.

"Сонечка, ты согласна?" – наседал я.

Софи подняла на меня смущенный взор и выдохнула:

"Да..."

Моя будущая жена легка и на голову ниже меня. Я обхватываю ее, приподнимаю до уровня глаз и покрываю ее лицо поцелуями.

"Не надо, Юрочка, не надо! – отбивается она. – Увидят!"

"Пусть видят!" – ловлю я ее губы.

И снова я был счастлив, как когда-то. И снова мне хотелось подхватить мою женщину на руки и идти с ней по жизни, покуда хватит сил. Горемыка Вертер! Как жаль, что триумф терпения был ему неведом!

6

"Давай сначала к твоим! – решила Софи, когда зашла речь о знакомстве с родителями. – Вдруг я им не понравлюсь..."

В ближайшую субботу я привез Софи в Подольск. Нас уже ждал праздничный стол и изнывающие от любопытства родители. Моя добрая, чуткая мать! Ее материнский и человеческий талант был и остается сродни природной постановке голоса: за всю жизнь ни одной фальшивой ноты. Громкий и жизнерадостный отец всегда оставался в тени ее мудрого, взвешенного темперамента. Она встретила будущую невестку в прихожей, жадно рассмотрела и тут же вручила ей свое сердце. Отец, в свою очередь, был за столом как всегда добродушен и безукоризненно вежлив.

Когда мы возвращались на электричке в Москву, Софи сказала:

"Твоя мама – необыкновенная женщина! Как бы я хотела иметь такую же мать!"

После чего отвернулась к окну и долго молчала. При расставании она попросила неделю на то, чтобы подготовить родителей, а середине недели сказала:

"В субботу, в четыре. Семейный обед. Родители и пара родственников"

В назначенный час я был у подъезда. Вышла Софи, поцеловала меня и повела за собой. Мне она показалась бледнее обычного, а ее чудные агатовые глаза посверкивали лихорадочным огоньком. На площадке она остановилась и сказала:

"Знаю: выпьешь – сядешь за пианино..."»

"Если можно. В смысле, нужно"

"Нужно. Только прошу, без этой твоей цыганщины. Что-нибудь классическое"

"Бетховен, Бах подойдет?"

"Подойдет. И никаких частушек! Договорились?"

"Железно, Сонечка!" – подписался я под договором и пошел за ней туда, где еще ни разу не был.

В большой прихожей нас встретила красивая, представительная дама с волнистыми волосами и недоверчивым взглядом.

"Мама" – объявила Софи.

"Белла Иосифовна" – протянула мама гордую, маленькую руку и окинула меня быстрым, предвзятым взглядом.

Мне выделили тапочки и провели в гостиную, где был накрыт стол, за которым уже находились Сонины отец, брат и тетя с мужем. Меня усадили за стол и дали время оглядеться. Что ж, судя по гостиной – хорошая квартира, большая. На стенах фотографии, картины. Вдоль стен – новая мебель вперемежку со старой. Сидим, переглядываемся, улыбаемся. Женщины удалились на кухню, и тетин муж предложил:

"А давайте по одной, пока женщин нет!"

"А давайте!" – подхватил папа – красивый, добродушный, молодежавый мужчина, шумной манерой держаться чем-то напоминавший моего отца.

Выпили, и я тут же доложил все, что думал про американский империализм и его лакеев. Папа с дядей поддакивали, а брат тонко ухмылялся.

"А вы, Юра, сами откуда будете?" – спросил папа.

"Из Подольска. Здесь, недалеко" – говорю.

"И родители есть?" – говорит.

"А как же! – отвечаю. – Все как положено – батя, мать, все при деле!"

"А кем они у вас работают, если не секрет?"

"Мать – плановик на заводе, отец там же финансами командует"

"О, это славно! – радуется папа. – А сами где учитесь?"

"В Плехановке. Четвертый курс"

В общем, допросили по полной программе. Ладно, сидим дальше, говорим потихоньку о том, о сем. Старики – ничего, а брат Сонькин молчит, но вижу – не нравлюсь я ему. Ладно, думаю, видал я вас таких, кучерявых! Тут женщины окончательно пришли и к нам присоединились. Налили, сказали и выпили за знакомство. Я вдруг ощутил зверский аппетит и набросился на еду. Вкус у еды, можно сказать, специфический, но я мел все подряд. Софи только подкладывает успевала. Мама напротив меня сидит и такие, вижу, на меня скептические взгляды бросает! Отец – ничего. Подливает, шутит, глаза добрые. Брат посидел-посидел с нами, да и отвалил. "Ну и хрен с тобой" – думаю. Наконец в еде вышла пауза, и мама спрашивает:

"А вы, Юра, сами откуда будете?"

"Да из Подольска, – отвечаю. – Тут, недалеко. Я уже говорил"

"А-а! Ну, я, наверное, на кухне была! А учитесь где?"

"В Плехановке. Четвертый курс. Я уже говорил"

"А-а! Ну, я, наверное, не слышала. А после института куда собираетесь?"

"Это уж куда партия пошлет!" – говорю.

"А вы что, партийный?" – испугалась мама.

"Нет – отвечаю, – это у меня шутка такая! Но вступать все равно придется. Без этого сегодня никуда"

"Кстати, насчет шуток! – говорит папа. – Вот вам свежий анекдот!"

И рассказывает анекдот про старого еврея. Хорошо рассказал. Я от души посмеялся. Потом еще один, и тоже про евреев. У меня даже слезы выступили. Потом дядя загнул, потом снова папа. Все довольны, все смеются. Я тоже хотел, было, встрять, но не нашел ничего приличного.

"А давайте, – говорю, – я вам на фано сыграю!"

"Что это значит – фано?" – спрашивает мама.

"Это Юра пианино так называет" – потупилась раскрасневшаяся Софи.

"Вы умеете играть на пианино?" – удивляется мама.

"А разве Соня вам не говорила?" – удивляюсь я.

Открыли фано, стерли пыль, я сел. Чувствую, за спиной притихли. Эх, думаю, дай порадовать компанию, а то пресно тут у них! Пробежал в до миноре снизу вверх и обратно, набрал воздуха побольше и застонал:

"Ехали на тройке с бубенцами..."

И так до конца, не оборачиваясь, всю песню и видал. А в конце вскочил со стула, развернулся и задом на клавиатуру со всего размаху сел. Сижу и вижу – Сони нет, старики кислые, будто зубы у них болят, а на пороге гостиной Сонин брат стоит, скалится. Чувствую – не понравилось. Ладно, исполнил на бис вторую часть Патетической сонаты товарища Бетховена, но положения не исправил: женщины во время исполнения ушли, а мужчины стали шептаться. Вернулся я за стол, посидели еще немного, вижу, все неохотные какие-то стали – пора, видать, и честь знать. Распрощались, и Софи пошла меня провожать. Вышли на воздух, и она спрашивает:

"Зачем ты это сделал?" – а сама в сторону смотрит.

"Что сделал, Сонечка?"

"Ведь я же тебя просила..."

"Сонечка, но ведь я Бетховена сыграл, как договорились, и ни одной частушки! Что было не так?"

"Поспешి домой, крокодил..." – обронила в сердцах Соня, повернулась и ушла, не прощаясь.

А ведь я к тому времени прочитал и Дюрренматта, и Сартра, и Ионеско с Кафкой, и Умберто Эко с Кэндзабуро Оэ, и даже "Анатомию одного развода" Базена! А все дело решила какая-то псевдоцыганская песенка! Скандал, да и только!

Через два дня моя печальная Софи поведала мне вот что.

Когда она рассказала обо мне родителям, то отец сильно расстроился, а мать пришла в ярость. "Никогда, слышишь, никогда ты не выйдешь замуж за русского!" – кричала она. Но Софи в порыве истерической решимости пригрозила, что уйдет ко мне жить и настояла на просмотрах. Учитывая высшую степень ажитации, в которую впала их покладистая дочь, родители захотели непременно увидеть этого русского наглеца, который намеревается похитить из иудейского стада невинную тонкорунную овечку. Решили: глянется – будет видно, ну, а на нет и суда нет. Для объективности призвали тетю с мужем. Не глянулся единодушно. Даже Бетховен не помог. Наверное, потому что немец. Особенно злорадствовал брат – он с самого начала был заодно с матерью.

"Господи, ну что я такого сделал?" – стонал я.

И в самом деле – какая муха меня укусила? Ведь я вполне мог прикинуться таким высокомерно-утомленным салонным пианистом – что-то вроде белого Тэдди Уилсона. Всего-то и нужно было поменьше говорить, побольше улыбаться, а в конце окатить публику россыпью элегантных серебряных пассажей из "Розетты". Тогда почему я вел себя так вызывающе, так развязно? Да потому, что я с порога уловил крепкий запах недоброжелательства! Неприятный, оскорбительный, между прочим, запах. Это когда тебе еще до суда отказывают в невиновности.

"Ничего ты не сделал! Будь ты хоть ангелом – они все равно бы не согласились, потому что ты русский ангел..." – шептала Софи, уставившись в пространство.

"Сонечка! Ты меня любишь?" – горячился я.

"Люблю..." – шептала Сонечка.

"Тогда переезжай ко мне, и мы завтра же подадим заявление!"

"Нет, я не могу разорвать отношения с родителями..." – шептала Сонечка.

"Ну причем тут они? Что – деньги? Не нужны нам их деньги! Мы прекрасно без них проживем!" – кипятился я.

"Ты ничего не понимаешь..." – шептала она, и слезы текли по ее безжизненным щекам.

"Но тебе же жить со мной, а не с родителями!" – надрывался я.

"Я так и знала, я так и знала, что все так будет..." – между тем бормотала Софи, блуждая по миру невидящим взглядом.

Прострация есть верный признак несчастной любви. Если ваша любимая после ссоры впадает в раж, а не в прострацию, значит, она вас не любит, так и знайте. Софи безусловно находилась в прострации. Облегчая ее страдания инъекциями поцелуев, мне удалось узнать следующее: оказывается, ее семья всегда мечтала уехать в Израиль и увезти с собой память о близких и дальних родственниках, которых Сталин перестрелял, как куропаток. Ее брат к этому времени закончил физтех, и теперь ждали, когда она закончит свой филфак. Но документы поданы, и ответ может прийти в любой момент. Если она останется, она никогда больше не увидит свою семью. Если уедет – никогда не увидит меня. Если только я не соглашусь уехать с ней в Израиль...

"Ты поедешь со мной в Израиль?" – спросила она, глядя на меня припухшими от слез, полными испуга и надежды глазами.

Ах, Софи, моя прекрасная, желанная Софи! Да я поеду за тобой хоть к черту на кулички! И вдруг меня осенило.

"Я знаю, что нужно сделать" – сказал я с мрачной решимостью.

"Что?" – вскинула лицо Софи, и я вопреки горестным обстоятельствам залюбовался ею. Нет ничего прекрасней, чем заплаканное, озаренное надеждой лицо любимой!

"Нам с тобой надо... ну... ну, это... ну, как его... – искал я приличный синоним слову "переспать", и вдруг выпалил: – Стать мужем и женой! Вот!"

"Как это?" – округлились глаза Софи.

"Послушай, послушай! – заторопился я. – Ты переночуешь у меня по-настоящему, а потом мы придем к ним и скажем – так, мол, и так, поздравляем, вы скоро станете бабушкой и дедушкой! Им же тогда некуда будет деваться, понимаешь?"

"Н-е-ет, Юрочка, это не выход..." – разочарованно протянула Софи.

"Ну, почему не выход, почему?" – кипятился я.

"Так нельзя. Это перемудрин какой-то..." – вдруг твердо сказала Софи, подобрала последние слезы и спрятала их вместе с платочком в карман пальто.

Именно с этого дня ведет отсчет период полураспада (он же полупериод распада) наших отношений. Через четыре месяца состоялась наша последняя встреча, а еще через четыре месяца Софи уехала в Израиль. Со временем я успокоился и даже женился, но еще долго всякое упоминание об Израиле вызывало во мне тихую и светлую, как при отпевании грусть. Это когда заводишь глаза к потолку, чтобы не расплескать слезы.

Но есть, есть на свете правда, и как это справедливо, что она хоть и поздно, но торжествует!

Лара

1

Итак, после семейного обеда у Софи прошли четыре невразумительных месяца, в течение которых из наших натужных отношений капля за каплей уходила жизнь – до тех пор, пока обе стороны не констатировали их смерть. Нас просто-напросто разлучили: когда я в течение последнего месяца перед расставанием пытался до нее дозвониться, мне двадцать девять раз из тридцати было сказано, что ее нет дома. Когда же трубку, наконец, взяла Софи, то на следующий день на свидание со мной явилась ее безвольная, растерянная копия и дрожащим голосом объявила: "Прости, Юрочка, и не обижайся: так надо...", после чего исчезла на целых восемь лет. Но как вы уже, наверное, поняли, умерла не любовь, а очная форма ее существования.

Конечно, многое из того, что я пережил, я понимаю только сейчас. Но одно я тогда знал точно – нужно отдохнуть от той любовной чехарды, в которую я оказался втянут некими недобрыми силами. Боль души отличается от боли тела, как тоталитаризм от демократии. Так вот – я не желал больше жить при тоталитаризме. И это не звонкие слова, а ответ здравого смысла на вполне осознанное возмущение. А возмущаться было чем: за семь лет меня пятикратно и с извращенным азартом подвергли искушению женщиной – поймав, как глупого карася на червяка любви, вытаскивали на берег и, насладившись моими судорогами, выбрасывали, задыхающегося, обратно в пруд. Так не лучше ли отплыть и понаблюдать со стороны? Нет, нет, я и не думал избегать женщин, я только хотел отдохнуть от любви! Мое саднящее сердце искало что-нибудь незатейливое и доступное. Вместе с тем мне претила циничная неразборчивость одного моего сокурсника, который однажды в ответ на мое сочувственное замечание в адрес нестройности ног проходившей мимо нас девушки отвечал, что ему важны не женские ноги, а то что между ними.

Находясь в беспросветной хандре, я полагался на властный и непререкаемый случай, который указал бы мне на новую избранницу. Итак, что ты, где ты, моя новая нетребовательная подруга?

Поскольку мои знакомые и малознакомые девушки доступностью не страдали, появиться она по примеру Натали могла только из ниоткуда. При явном девичьем избытии найти среди них ту, что подходила бы моим депрессивным планам было не так-то просто. Если к совокупности внешних признаков, как-то – искомый возраст, отсутствие кольца, манера одеваться, держаться, двигаться, разбрасываться взглядами – добавить невидимые нюансы, постигаемые только печенками, то выходило, что подавляющее большинство из них относилось к категории нетронутых невест. Думаю, обольстить и склонить их к легкомысленному сожителству было бы не под силу даже Дон Жуану, не говоря уже о вашем деморализованном покорном слуге. Так что же, снова любовь? Ну, уж нет! Софи запросила за нее слишком высокую цену, и моя разоренная душа, предъявляя пустые карманы, требовала избавить ее от серьезных отношений. Но как это всегда бывает, находят там, где ищут меньше всего.

Однажды сырым октябрьским вечером я был послан матерью в магазин, где оказался в одной очереди с девчонкой из параллельного класса. Мы не виделись с тех пор, как окончили школу, то есть, четыре с лишним года, и теперь меня с прищуренной улыбкой рассматривала интересная молодая блондинка. Ее фигура, завернутая в болотного цвета плащ и перехваченная на талии пояском, привлекала стройностью, а в личике было что-то кукольное и непорочное – как раз те самые симпатичные признаки, которые всегда мне нравились. Звали ее Лариса. Мы разговорились, и она сообщила, что не замужем, что окончила техникум и теперь работает на машиностроительном заводе технологом. Что ее одноклассники разлетелись, кто куда и что она часто вспоминает наши школьные дни. Нет, ты, в самом деле, заходи, сказала она при расставании. Или вот что: надумаешь – звони. Запоминай мой номер. Запомнил? Ну, в общем, звони. Буду рада. Возвращаясь домой, я повторял номер ее телефона, а придя, добавил его в нашу телефонную книгу. Засыпая, я подумал: "Почему бы и нет?". В школе я не замечал ее, потому что сначала у меня была Нина, потом Натали. Будь я нынче в более выгодном положении, то уделил бы ей лишь то внимание, которого требовала случайная встреча. Я ничего о ней не знал, кроме того что у нее приятное личико взрослой куклы и чистые, смеющиеся глаза. Элегантно поднятый воротник, сумка через плечо, заметная грудь, прямые, растущие из карманов плаща и состоящие в створе с задорно вздернутыми плечиками руки – такой была приманка ее осанки. Ну, и что мне еще надо?

Наутро я ее уже не вспоминал и, погрузившись в привычную хандру, вскоре и вовсе забыл.

2

В начале ноября сокурсница сообщила мне об отъезде Софи. Еще неделю я оставался ей верен, а затем позвонил Ларисе. К моему звонку отнеслись благожелательно, и я тут же был приглашен на чай. К приглашению прилагался адрес.

На следующий день в восемь вечера я был по указанному адресу, где меня ждала наряженная Лариса и круглый, как мишень стол с угодившим в самое "яблочко" тортом. А что родители? Не родители – мать. Работает медсестрой и сейчас на ночном дежурстве. А я рассчитывал с ней познакомиться. Успеешь еще. Тогда чай. Может, что-нибудь покрепче? Почему бы и нет. Тогда сиди и смотри телевизор! И Лариса запорхала по квартире. Я следил за ее передвижениями и поневоле сравнивал с Софи. Да, хрупкостью Лара не страдала, но удачно приталенное темно-вишневое платье делало ее соблазнительной. Ловкие, точные движения, тесный, весомый бюст и льняные локоны до плеч. В ней чувствовалось здоровье, в ней жил пожар. Какая у нее, должно быть, упругая и горячая кожа!

"Ну, давай! – уселась напротив Лариса. – Раз пришел – развлекай меня! Расскажи что-нибудь!"

Я начал с того, что нас соединяло, то есть со школы. Общие друзья, любимые учителя и предметы, воздух один на всех, спасительные звонки, скоротечные перемены, ненасытные каникулы, школьная любовь и торжественные вечера – о них можно было говорить всю ночь. После третьей рюмки Лариса призналась, что была когда-то ко мне равнодушна – как, впрочем, и многие наши девчонки. Сегодня она вспоминает об этом снисходительно, с иронией, как о давно минувшем и теперь уже безобидном. Я в свою очередь рассказал про институт, баскетбол, стройотряды и упомянул квартет. Все остальное знать ей было не положено.

Я пробыл у Лары до половины одиннадцатого, но так и не смог переступить через Софи.

"Я тебе позвоню!" – поцеловав ее в разочарованную щечку, пообещал я и, выйдя на улицу, испытал облегчение. Перед сном же и вовсе подумал, что звонить больше не буду.

Через день я позвонил ей и пригласил в кино. Лара удивилась, но на свидание пришла. Выглядела прекрасно, держалась достойно, и я остался ею доволен. Оказалось, что она читала "Давай поженимся" (да кто же в то время не смаковал этот сусальный леденец американского сентиментализма?!) и очень при этом переживала: как это грустно и жизненно! Откуда же она знает, как бывает в жизни, если не была замужем, спросил я. Женщины такое сердцем чувствуют, был ответ.

Еще через день, в субботу, я снова пригласил ее в кино. После сеанса мы гуляли, и я снисходительно поправлял ее мнение по поводу увиденного. Когда же заговорил о Гошиных детях, Лара неожиданно попеняла некой своей незамужней подруге, которая к тому времени уже умудрилась сделать три аборта. В ее замечании виделась и слышалась нравственная позиция. Уж не предупреждение ли это моим похотливым намерениям? Перед расставанием мы остановились возле ее подъезда, и я, оглянувшись, быстро и воровато поцеловал ее. Лицо Лары стало серьезным, и она взглянула на меня с удивленной укоризной.

"Извини, – сказал я. – Сам не знаю, как это вышло..."

"Да нет, ничего... – смотрела она на меня немигающим взором. – Так ты придешь?"

"Конечно! – с воодушевлением воскликнул я. – Только позволь, я сам куплю вино. Или коньяк?"

"Что хочешь..." – улыбнулась она, не спуская с меня глаз, и я, сковав ее медвежьей хваткой, крепко, по-хозяйски поцеловал. Когда оторвался, она повела смятыми плечами, сдержанно улыбнулась и сказала: "Вот уж никогда не ожидала!", после чего повернулась и ушла.

Следующим вечером я был у нее. Уже на пути к ней я знал, что ЭТО сегодня обязательно случится. Знал и думал об этом со странным равнодушием и покорностью. А между тем, если судить отстраненно, Лара была ничуть не хуже моих предыдущих подруг. Только как это внушить усталому, разочарованному сердцу?

Я принес коньяк, и после двух рюмок мы пересели на услужливый диван и принялись целоваться. У Лары обнаружился опыт, что меня успокоило: стало быть, я у нее не первый, мне не придется лишать ее девственности и чувствовать себя после этого обязанным. Заведя руку ей за спину, я с животным удовольствием посасывал десертные, мятные губы, в то время как другая рука мельтешила по горячему безвольному телу. Ее губы проснулись, ожил язык, неспокойная жаркая ладонь легла на мой затылок. Раздувались ее ноздри, трепетали веки, пропадало сердце. Я накрыл ее круглое колено, двинулся оттуда выше и вторгся в запретные места. Лара отнеслась к вторжению сдержанно, давая понять, что не напрашивается, а уступает. Я вкрадчиво ласкал потайную прохладу распавшихся ног, пока не подобрался к слезоточивой расселине. Лара не вытерпела, вскочила, взяла меня за руку и повела в другую комнату, где я раздел ее, уложил и, с удовольствием покрыв обстоятельными поцелуями, подвел черту под нашими с Софи отношениями. Во время моего отречения Лара вела себя с негромким достоинством, и о том, что она чувствовала, я мог судить только по ее частому дыханию и судорожному ерзанью рук...

Это был мой первый секс без любви. Я лежал рядом с Ларой и молчал.

"Ну, и что теперь?" – с едва заметной усмешкой нарушила молчание Лара.

"Иди ко мне!" – вдруг устыдился я своей пустоты. Лара положила голову мне на плечо, я обнял ее и уставился в потолок.

"Я сегодня полночи не спала, все думала..." – негромко сказала Лара.

"О чем?"

"Все думала, зачем я тебе..."

"Что значит, зачем?" – смутился я.

"Ну, со мной-то все ясно... Ведь я же тебя еще в школе любила... В девятом, а особенно в десятом классе... Но ты всегда был гордый и неприступный... А тут вдруг взял и позвонил... Неужели не нашел никого лучше?"

"Значит, не нашел" – принялся я тискать ее мягкие земляничные поляны и упругие яго-дичные холмы. Она покорно и доверчиво прильнула ко мне, и прелести ее казались мне весьма убедительными, весьма.

"У тебя уже кто-то был?" – спросил я.

Лара помолчала и нехотя ответила:

"Был один... идиот..."

"Расскажи" – попросил я.

"Да что рассказывать... – также нехотя продолжала Лара. – Познакомились в техникуме. Сначала был нормальным парнем... Ухаживал, в кино водил, в компании разные, перед друзьями своими хвастался, какая я у него умная, да хозяйственная... В любви признавался, жениться обещал... В общем, задурил бедной девушке голову... Ну, я и поверила... Полтора года с ним встречалась... А потом он взял и изменил... Легко так, просто... Как будто это нормально, как будто так и положено... А потом на полном серьезе удивлялся, за что я его бросила..."

Я слушал и ласкал ее, радуя шершавые ладони теплой отзывчивостью кожи. Вдруг Лара подняла голову и воскликнула:

"Нет, правда, никак не могу поверить – ты и со мной! Что случилось, Юрочка? Тебе что, тоже изменили?"

"А что, разве мне не могут изменить?"

"Тебе? Изменить? Ой, уморил!" – уронив голову мне на грудь, разразилась она задыхающимся смехом.

"А вот представь себе – изменили!" – с вызовом воскликнул я.

"Ну, ну, рассказывай!"

"А вот послушай!"

И я тут же, на ходу сочинил из пяти моих историй жуткую мелодраму, в которой меня полгода водили за нос, а затем коварно бросили. Украсив рассказ красочными подробностями (благотворное влияние Софи), я и сам поверил своему вымыслу. Тем более что наполовину он был правдив: если в жизни меня за нос и не водили, то бросали точно – с помертвевшим лицом, кипящими слезами и душевными обмороками. Сегодня я знаю две вещи: во-первых, измена, как и болезнь, случается не вдруг, а во-вторых, всякая женщина способна изменить. И если она это отрицает, значит, плохо себя знает.

"Что, это правда?" – недоверчиво спросила Лара.

"Ну да!" – горячо заверил я ее.

"Ну, не знаю..." – сказала Лара, и нежной рукой погладила меня по плечу.

Я подхватил ее пальчики и с благодарностью к ним прильнул. Пусть думает, что я тоже нуждаюсь в утешении. Тем более, так оно и было.

Когда-то где-то я прочитал, что писателем может считаться только тот, кто способен отделить мысль от чувства. Со временем я, однако, понял, что писателю, который не хочет, чтобы его произведение превратилось в собрание афоризмов, подобному сепаратизму предаваться не следует. Именно чувства должны занимать его прежде всего. Слова соблазнят и обманут, а чувства – никогда. По моему мнению, настоящий писатель – это тот, кто способен формулировать чувства, оставив мыслям псевдонаучные трактаты, вроде моего. Возможно, я не прав. Возможно, таков ход моей торопливой мысли, желающей добраться до сути кратчайшим путем. Например, темному смыслу выражения *"Время есть отношение бытия к небытию"* я предпочитаю мою однозначную, а главное, научную формулировку "Время есть бытие небытия". Так вот: я благодарен Ларе за то, что она своим бытием наполнила мое небытие.

У нее были мягкие, неслучайные черты, но им не хватало некой жизненной искры. И вот что я имею в виду.

Однажды в расхристанные девяностые мы решили подарить нашему иностранному партнеру, каких немало наезжало к нам в ту пору, что-нибудь национальное. Картину например. Время было похабное и циничное, и шедевры валялись буквально под ногами. Я пошел на Арбат и стал приглядываться к творениям доморощенных творцов. Искал характерный русский пейзаж, глядя на который глаза одаряемого туманились бы слезой (в память о бесплатных попойках), и вслед им растроганно звучало бы: "O, yes, Moscou, Russia!" Искал и не находил. Притом что выбор был на любой вкус – от пролеска до бурлеска. Только вот заключенный в рамки мир был какой-то правильный и неживой. Даже моего трехцветного чутья хватало, чтобы это понять. И вдруг я увидел то, что искал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.